

The background of the entire image is a deep blue. It features a central white line drawing of a map of Ocher, showing the town's layout, the Ocher River, and the Ocher Works. Surrounding the map are numerous semi-transparent, blue-tinted portraits of people from different eras, including men and women of various ages, some in military uniforms and others in civilian attire. The portraits are arranged in a circular pattern around the central map.

Максим Шардаков

ОЧЁР В ЛИЦАХ

живая история

МАКСИМ ШАРДАКОВ

ОЧЁР В ЛИЦАХ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Издано Центральной библиотекой Очерского
городского округа при поддержке
Министерства культуры Пермского края

Очёр 2022

ББК 84(2Рос—4Пер)

Ш25

Шардаков, М. А. Очёр в лицах: живая история : рассказы и миниатюры / М. А. Шардаков. – Очер : Центральная библиотека Очерского городского округа, 2022. – 210 с.

Корректурa, дизайн, верстка Е. О. Шадская.

© Шардаков Максим Алексеевич, 2022.

© Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека Очерского городского округа», 2022.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вымысел правды.....	4
Волшебство «комедийного сарая»	7
Души и тела врачеватель.....	27
Первые буревестники	41
Исайкино счастье.....	65
Сила правды	98
Две копани.....	107
За дядиколиной спиной	123
Пепка и Пикушка.....	145
Лыжню!	150
С Малковым поговорили.....	171
Нецветаемка народная	189
Имя редкой доброты.....	199
Омерзительное нарицательное	203
Автор благодарит.....	213

*Моей любящей и любимой маме
Ольге Петровне Пискарёвой*

ВЫМЫСЕЛ ПРАВДЫ

(вместо предисловия)

Дорогие читатели! Уважаемые земляки-очёрцы!

Эта книга – мой низкий поклон нашим с вами предкам. Тем, кто создавал историю Очёра, ковал его славу и оставил нам огромные запасы духовного богатства, питаюсь которым вольготно проживёт еще не одно будущее поколение.

Среди персонажей рассказов и исторических миниатюр вы, может быть, узнаете своих родных и близких, друзей и соседей. Многие образы, конечно, собирательные, но есть и такие герои, чья жизнь вовсе не требует вмешательства литературного вымысла – тут уж, как говорится, ни убавить, ни прибавить...

В основу миниатюр легли воспоминания очёрцев. Одни автор услышал сам, другие вычитал в документах и рукописях. Некоторые, прежде чем дойти до меня, передавались через несколько уст – из поколения в поколение, поэтому что-то рассказчиками было бесповоротно забыто, что-то, наоборот, приукрашено. Массив ценнейшей информации – не на одну книгу! Но куда больше я упустил...

До конца жизни буду корить себя за невнимательность и равнодушие, что вольно и невольно проявлял к своим собеседникам. «Не сейчас, потом, еще успеем, некогда, что-то устал – давай завтра», – так часто я оправдывался перед дедом и бабушками, отцом и дядьями, тетусками и друзьями семьи, коллегами и однополчанами, что хотели рассказать мне что-то важное, интересное, близкое

сердцу. И даже рассказывали! Но я, увы, плохо слушал... А теперь их уже нет в живых, и остались в памяти лишь крупницы воспоминаний, их обреченные, с легким укором вздохи и всепрощающие улыбки...

Конечно, в Очере сохранились богатейшие пласты архивных документов, записей, музейных экспонатов – только изучай и пиши! Но все равно не заменят они человека, его живой речи, эмоций, акцентов, жестов... Восстанавливать в памяти эти рассказы, беседы, споры, поучения, мимолетные фразы, случайно оброненные слова – тяжкий труд. Но зато какой благодарный! Прав был писатель Валентин Пикуль: муза истории Клио, порой, выдает такие фортели, что искренне поражаешься – да могло ли быть все это?! Но это было, было... Сколько переплетений людских судеб, сколько совершенно разных событий прошлого связаны тонкими нитями! Сколько актуальных уроков бескорыстно давали нам мудрые предки, словно они уже тогда чувствовали, что их потомки обязательно «наступят на те же грабли».

Центром притяжения событий, описываемых в данной книге, стал наш любимый Очер. И не случайно: ведь Очёр – намоленное нашими пращурами место, обильно политое слезами, потом и кровью с одной лишь целью – чтобы мы, люди будущего, жили лучше и были лучше них...

Согласитесь, ведь чем-то цепляет и скрепляет Очёр тех, кто родился и вырос здесь, с теми, кто покинул «родные палестины», но забыть их никак не в силах, и теми, кто вроде бы совершенно случайно, волею судеб и непреодолимой силой обстоятельств, мимолетно посетил наш городок. Чем же, интересно?

Природой? Безусловно! Очерский край – один из самых любимых Богом уголков на созданной им планете. Своеобразная модель небесного рая на земле, где компакт-

но и бережно собрано всё самое необходимое, чтобы жить, трудиться, любоваться окружающей красотой. Живописные пруды – Очёрский и Павловский, что краше любого моря. Стройные вековые сосны в зеленом бору, что раскачиваются на ветру, словно изящные балерины, репетирующие танец маленьких лебедей. Загадочная космическая бездна Торсуновского озера. Грандиозные, как и положено чудесам света, гора Кокуй и канал Копань: одно – творение стихии, другое – рук человеческих.

Историей? Несомненно! Такой древней, что тайны её ушли корнями в доисторическую эпоху, и археологам еще только предстоит разгадать их. Такой богатой, будто Очёр и очёрцы не пропускали ни одного мало-мальски значимого события. И такой славной, что на ее скрижалях слово «Очёр» выбито на разных языках и потому известно каждому гражданину мира.

Культурой? Не счесть талантов, что теплятся в очагах её! Краеведческий музей – место паломничества гостей со всего света. Книги замечательных писателей Алексея Дубровина, Геннадия Солодникова, Александра Спешилова, поэтов «Очёрской лиры» и подвижнический труд библиотечарей, что эти книги хранят. И, конечно, Очёрский народный театр – старейший на Урале, с подмостков которого вышла к публике знаменитая на весь мир Пермь театральная.

Людьми? А как же! Герои, чьи судьбы требуют воплощения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино – Павел Строганов, Михаил Россомагин, Федор Спехов, Аркадий Хренов, Игорь Шардаков, Николай Носков, Алевтина Колчина, Герасий Носов, Иван Каменских. А сколько вокруг нас обычных людей, чей героизм, на первый взгляд, совсем не заметный, даже какой-то будничным, но он тем и ценен, что прост, твёрд и необходим как Правда. Вот об этих людях и написана наша книга.

ВОЛШЕБСТВО «КОМЕДИЙНОГО САРАЯ»

1

– Ой, батюшки-светы, помилосердуйте, люди божии-и, – с конного двора Очёрского завода уже час как раздавались душераздирающие вопли. – А-ай! О-ой! Да имейте же сердце, сатрапы! А-а-а! – Заполошный крик эхом стелился по широкой глади пруда, пугая чаек и купавшихся на Девичьей Ямке ребятишек.

– Кого это так катают? – спросил плотинного сторожа пожилой мастеровой.

– Знамо ково – артиста.

– Это чего за прозвание такое – артис? Или рукомёсло новое?

– Аль не слыхал? Эх ты, котя-мотя, – усмехнулся сторож и покровительственно, со знанием дела поведал: – Конторщик Коська Деменев надысь будто с реек съехал: людёв оторвал от работ, на яшшыки взгромоздился, рожу насурмил малёвой какой-то, ножку вот эдак отставил и давай перед опчеством чесать голосом не нашенским, барским. А потом отвернулся, чепец кружевной наеперил, губки надул и – в барыню обернулся!

– Да ну? Врёшь ведь!

– Вот те крест! Народец-то зело смеялся, рты до ушей расщерил – уж больно похоже вышло. А прикащик-то углядел да управителю мигом нажалился. Вот и разложили страдальца на конюшне и потчуют по филейным-то местам. Уж котору розгу поди изломали. Эх, непривычен Филька к та-

ковскому обращению – нежень неженью: кожа белая, к большой работе да дранью не пригожа, как бы Богу душу не отдал, сердешной...

– Ништо ему, пушай вразумляют! Небось смирнее станет... А барин-от наш неужто обиделся б на такое шутейство?

– Барин-то едва ли. Он и сам бы повеселился от души – чай в европах немецких за морем живал, а там, я слыхивал, даже королей пересмешничают. А вот челядь его ближняя во всём хулу да разврат видит, и промеж собой тягается, локтями толкаясь – кто наперёд доложит да выслужится.

– Что ж оно и так, дело-то известное – холопское... А все ж забавно было б на Коську-то позырить.

– А тамока не только Коська, а цельная артель артистов-от! Все – заводски служители, но и нашим братом не гребуют – кто поспособней да погоношистей, тех с превеликой радостью в артисты принимают. Такие действия, скажу я тебе, закручивают – засмотришься! И поют уж больно усладительно, прямо как в храме Божьем на святые дни. Одна беда: представляться-то им совсем негде! Мыкаются по углам, будто папертники, покель взашей не погонят. В цеха не пускают, в конторе тесно – ни спеть, ни сплясать, и любозрителей рассадить некуда... Не в храме же им, в самом деле, скоморошничать!

– Тогда имя свой храм нужен – особый. Ведь как хорошо: на воскресный день сперва в церкви обедню отстоял, спас душу, вкусил благолепия неземного, а опосля – в другой храм, к артистам, веселым действием сердце согрел да словом поучительным ум оросил. Все лучше, чем в кабак, так оно ведь?

– Истинно так! Чай не позабудут Бога в этаким – то храме... И насчёт него добрые люди уже давно хлопочут!

В 1807 году приказчик Очёрского железодельного завода Афанасий Федорович Прядильщиков добился разрешения графа Строганова выделить помещение пустующего склада под певческий театр, который получил от современников вызывающее улыбку название – «комедийный сарай». А ведь именно из него в золотом 19 веке, как литература из го-голевской «Шинели», и вышла знаменитая на весь мир Пермь театральная, что до сих пор для нас «сильнее страсти, больше чем любовь».

Согласно запискам отца и сына Прядильщиковых, очёрцы успешно ставили отрывки из опер, хоровые и драматические произведения. Первые очёрские театралы предпочитали сюжеты понятные, на современный взгляд, может быть, немного наивные, какие можно было разыграть шумно и весело. Но, безусловно, и поучительные, раскрывающие русский характер с его лукавой насмешливостью, святой верой в чудо, презрением к унынию.

В 1821 году друг Пушкина, мореплаватель, историк и страстный поклонник театрального искусства Василий Берх, служивший в Пермской казенной палате, пригласил труппу Очёрского театра выступить перед жителями губернского центра. В доме купца Лыхина крепостные актеры с успехом представили водевиль Алексея Верстовского «Бабушкины попугаи» по пьесе Николая Хмельницкого, который незадолго до этого был дан в Большом театре. Удачные попытки очёрцев замахнуться на столичные театральные новинки говорят о широком кругозоре, потрясающей информированности и творческой оснащенности участников труппы.

А в середине века Очёрский театр давал представления в пустующих соляных амбарах на берегу Камы у Осинского

спуска уже перед самой широкой публикой. На постановках, казалось, бросив все свои дела, собиралась вся Пермь! В 1843 году на суд зрителей была представлена комическая опера Якова Княжнина «Сбитеничик», тремя годами позже – спектакли «Хвастун» и «Чудаки». Очёрцы не боялись ставить некогда запрещенную цензурой комедию Василия Капниста «Ябеда», которая до появления на сцене «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизора» Гоголя считалась наиболее острой и обличительной. Выбор пьес не был случаен: комическая опера – не просто веселая буффонада. Например, Княжнин как никто другой отвечал чаяниям очёрских крепостных актеров и режиссеров, хотя почти все его произведения, по сути, являлись ремейками водевилей французских драматургов. Иван Андреевич Крылов в одной из своих ранних пьес вывел Якова Борисовича в образе писателя Рифмокрада, а насмешник Пушкин наградил его не лестным на первый взгляд эпитетом – «Переимчивый Княжнин». Однако следует помнить, что в ту эпоху заимствование сюжетов и подражания классикам считались не просто обычным делом, но даже достоинством и показателем высокого мастерства автора. К тому же Княжнин оживил комедии русскими фольклорными элементами, добавил перца едкой сатиры, освежил богатым разговорным языком, направив их против крепостничества, сословных предрассудков, невежества, тщеславия и позерства в стиле «казаться, а не быть».

А как еще находившаяся под крепостным ярмом интеллигенция могла выразить свои передовые общественные взгляды, если не через театр? Не стоит забывать, что в то время каждого из актеров в любой момент по прихоти барина могли продать, словно мешок муки, обменять на пару борзых щенков, отдать в солдаты или вообще запороть на конюшне. И вот под свет ramпы, казалось бы, забитый, зажатый, униженный, на сцене он преобразается – будто надевает маску, и, прикрывшись ей, становился свободным –

пусть всего лишь на время спектакля, не наяву, а пока только в мыслях и чувствах. На глазах публики крепостные заводские мастеровые и служители, дворовые и приказчики превращались во всесильных прокуроров и судей, древнерусских князей и варяжских дружинников, ироничных скоморохов и праздных дворянских отпрысков. Наверное, первые очёрские актеры шли в театр за свободой, за возможностью прожить несколько счастливых маленьких жизней, ненадолго позабыв о своей горемычной.

Золотая пора Очерского театра началась после отмены крепостного права. В 1887 году труппе было передано здание вотчинного правления, которое до нынешних лет, увы, не удалось сохранить. Появились все внешние признаки, отличающие настоящий театр от захудалой самодеятельности: «начало всех театральных начал» – гардероб, фойе, галерка, оркестровая яма и даже буфет. Кругом – потрясающие декорации, алый бархат лож, инкрустированных деревянной резьбой. Слуховое окно на фронтонной стене было искусно сделано в форме лиры.

Театральные сезоны начинались осенью и заканчивались в конце мая, что было связано со спецификой работы Очерского завода, который в летнее время прекращал свою деятельность, а люди отправлялись в «гулевые» отпуска. Дошедшие до нас афиши свидетельствуют о том, что сборы от спектаклей шли в пользу бедных учеников, бесплатной читальни, раненых бойцов, на строительство памятника Глинке в Санкт-Петербурге. Цены на билеты были вполне доступными для всех социальных групп.

На рубеже 19–20 веков в Очере сложилась сильная труппа любителей театра, которую возглавляли супруги Малых: Петр Алексеевич – музыкант и скрипичный мастер, а его жена Софья – известная петербургская актриса. Режиссером стал инженер Николай Мальцев, автор одного из самых почитаемых в Прикамье памятников федерального

значения – знаменитых солнечных часов. Очерцы ставили пьесы Островского, Сухово-Кобылина, Гоголя, Фонвизина, разыгрывали «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Жизнь за царя», «Фауста», «Демона». На сцене блистали незаурядный комик Михаил Усатых, за свое дарование прозванный Щепкиным, инженерю Лидия Пискарева, резонер Павел Сюев. Да-да – тот самый редкого таланта ботаник и лесовод, которого высоко ценил создатель Ботанического сада при Пермском госуниверситете профессор Александр Генкель. Однако, ботаник по профессии, по образу жизни Сюев «ботаником» не был: статный артиллерийский офицер, герой двух войн, даровитый художник и музыкант, душа компании, франт и щеголь, наверное, вскруживший головы многим провинциальным барышням.

Новая театральная страница Очера была написана актерами «театра мастеровых», родившегося на базе рабочего кружка. Руководство взяла на себя режиссерская коллегия, в которую входили братья Иван и Василий Верецагины, Василий Ипанов, супруги Мощениковы. «Любили играть Островского, – вспоминал Василий Верецагин, – своего драматурга, понятного, сказавшего доброе, сочувственное слово о простом человеке». На афишах рабочего театра заpestрели знакомые названия – «Гроза», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Лес». Так, либеральному, но все же вполне законопослушному и довольно замкнутому миру заводской интеллигенции пришлось изрядно потесниться на культурной нише – ложи и галерка заполнились новой публикой: от плугов и кузнечных горнов, из горячих цехов и лесных деленок.

– Баушка Клавдя, пошуйкай по сундукам насчет одежи старинной, – молодой заводской служащий вьюном вился перед зеркалом, примеряя белоснежную манишку-шенизетку, и искоса поглядывал на престарелую хозяйку. – Мы комедь ставим про старопрежнюю жизнь, а реквизиту нет совсем. Шушун какой или кокошник завалящий хоть взаймы на время не одолжишь ли?

– Что ты, что ты, милый сын! – всплеснула руками старушка. – Да разве у бедного люда бывает лишняя одежонка? В сундуке-то только смертное у меня положено – часа своего дожидается. Близко уж...

– Ну баушка! Без ножа ты меня режешь. Мне госпожу Курмонд играть, неужто салоп какой не сыщется, хоть бы и молью проеденный?

– Скажешь тоже – салоп... Да салопы-то барыни да купчихи носят. А заводски-те люди и в старину не больно богато жили, – бабушка подперла натруженной рукой щеку и ударилась в воспоминания: – Пригнали нас в Очёр с усольской земли, как скотинку пригнали... Воля барская без прекословий: собирай, что нажил и – прощай, родимая сторонушка. Приехали, а тутоса сосны шумят да медведи в речке полощутся – ни двора кругом, ни избёнки. Только ямина агромадная – там где завод-от сейчас... Пока строились – и на-вовсе обносились. Зимой на улку не в чем шастать было – на печи сидели, до ветру и то по очереди в одних валенцах на мороз выскакивали.

– Так уж полвека, буди, прошло. Сейчас вроде полегчение простому люду-то настало? Я вона глянь – уж почти приказчик и жалованье имею сносное. И белья на три перемены, и сапоги на московском ранте...

– Франт какой, прости господи! А я еще за прабабкой своей юбки донашиваю. Вот гляди, что на мне – это и есть из старинной жизни-то. Бери уж для пользы дела!

– Ой, да госпожа Курмонд, наверное, такого не носила. Моды не те...

– Моды – у господ да у хранцузов, а у нас по-простому, – пожала плечами бабушка и вдруг усмехнулась: – Неужто старушечью одёжу на себя напялишь? Фу, срам-то какой. А усы-те куды одеваешь – сброешь или платочком прикроешь? Ну, арти-ис!

Во времена крепостничества в Очёрском певческом театре правил патриархат. Все роли исполняли исключительно представители сильного пола, хотя в других российских театрах на сцене уже давно блистали жёщины. Первым зрителям порой неловко и смешно было наблюдать, как в образы барынь, служанок, девиц на выданье вживались солидные мужчины – с окладистыми бородами и гусарскими усищами, плечистыми фигурами и басистыми голосами.

В Очёре любители театра даже создали закрытый мужской клуб, на подобие Английского, почти со всеми его атрибутами: комнатами с игральными столиками, бильярдом, буфетом с напитками, библиотекой.

Нельзя сказать, что жёщины не интересовались театром. Наоборот, свет рампы тянул их на подмости, словно хрупких бабочек на пламя свечи. Однажды дочь очёрского мастерового переоделась в мужское платье и попыталась проникнуть в клуб, но была разоблачена и с позором изгнана прочь. Хотя должное ее дару перевоплощения мужчины отдали, но на сцену, увы, все равно не допустили...

На квартире у главного заводского приказчика Афанасия Прядильщикова келейно собрались графские служащие. Шёл жаркий, невиданный доселе спор. И касался он вовсе не производственных нужд, не податей и недоимок, не строительства цехов и лесных порубок – эти-то вопросы в Строгановской вотчине всегда решались тихо, мирно и без канители. Обсуждали не что-нибудь, а такое, что и вымолвить страшно – театр!

– Опять мастеровые да кое-кто из молодых служителей пристали ко мне, будто репы на собачий хвост: дескать, вынь да положь им помещение, – рассердился помощник приказчика и, смело воззрясь на Прядильщикова – своего прямого начальника, начал выговаривать ему: – И вы недальновидно потворствуете им! Афанасий Федорович, да рассуди ты здраво! Экономия графская такого не видывала. Это завод, а не трактир придорожный, чтобы куртаги бесовские поощрять. Робить надо! Нам, господа, о графских прибылях думать надобно, а не о плясках богохульственных да кривляньях мерзких! И никак не сдюжим мы расходов-то напрасных. Летом пруд до мелей сохнет, вода не бежит, завод стоит – графу и без того убыток. А в Европе война идет, Наполеон зубы точит на Расею-мать – каки тут тиятры? Да я в острог бы всех их, кто царя-батюшку да веру нашу православную посмеет променять на скоморошество!

– Ересь мелете, господин хороший. Патриотизм ваш квасом прокисшим шибает! И почему вы изволите считать свою любовь к Отчизне выше и краше, чем у прочих? Вы, как помнится, такой же крепостной, как и самый распоследний трудник на черных работах, – нахмурился Прядильщиков. – Работным людям с раннего отрочества тягу к прекрасному прививать положено. На работе тяжелой мастеровые с малолетства ломаются, света белого не видят. Они свое дело, как

умеют, делают. И, скажу вам, делают изрядно! А убытки – это наш недогляд! Да и всего-то просят артисты наши пустяк из пустяков – старый амбар или лабаз. Неужели не подберем? Вот у церковного сада есть склад – пустует, гниет втуне...

– Да нету у нас свободных помещений! Не-ту! Разве сюда, на квартиру к себе комедиантов пустите, господин Прядильщиков! Мало вам суеты...

– Не советую дерзить! – Прядильщиков сурово свел брови. – А доходов наших не убудет. Ежели придется, то ужмемся, цифирь подчистим, наддадим, где требуется, а театру – моё слово верное – быть непременно! Да он уже и так существует, без нашего веления, только бездомный и неприкаянный покамест. А графу я уж отписал честь по чести, ответа жду все милостивейшего...

– Да его сиятельство сюды и носа не кажет – где знать-то ему про наши беды! И не ваше слово-то первое, а пресветлейшего Павла Александровича. Как он еще посмотрит на эту затею... Тياتр! Он же денег стоит, и, кумекаю, немалых. Где взять-то их? А с Питербурха всё требуют каждодневно – дай и дай! Да хулят обидно: дескать, пошто так мало? В солдаты грозятся сослать, а то и в Сибирь! Вот там и будет всем нам тياتр- то – на морозе трескучем перед бирюками да острожниками... Да вы-то что помалкиваете, святой отец?! – помощник приказчика, ища поддержки, обернулся к приходскому священнику.

– Хм-хм, хулы на веру в сей затее не зрю, – промолвил тот. – А театр? Ничто мирское и мне не чуждо, и Богу не противно. Ежели б не сан, то и я бы силы свои попробовал...

– Да ну вас, право...

Прядильщиков промолчал, словно приглашая высказаться остальных заводских служителей, кои, помня о чиновничьей почитании, допрежь смиренно помалкивали. И вдруг, уловив момент, разом загалдели:

– Да поймите, братцы, почин-то какой! Ведь первый на всём Седом Урале певческий театр заведем!

– Баловство всё это... Шумство одно. Пусть оне у себя в домах поют, сколь влезет!

– Нет, не баловство, а искусство! Я и сам к машкерадному действу пристрастие имею и готов хоть царя Ирода сыграть, хоть монашку!

– Водевильчики одни на уме... Потачка распутству и потворство праздности! Вольнодумие опасное!

– Да еще при Петре Великом на Руси театры высочайше утверждены были! По вашему, государь российский – вертопрах и сибарит? Вот вы и есть первый вольнодумец, коли так мыслите!

– Раньше, господа, раньше! В старину глубокую, еще при Алексее Михайловиче Тишайшем «комедийную хоромину» затеяли! А у нас в заводе пусть «комедийный сарай» будет, чем не бась?

– Скука смертная в Очёре. Мы так скоро вдрызь оболванимся и в медведей косматых превратимся. А тиятр – забава весьма любопытственная и отвлечет нас хоть бы и на время... И народ, глядишь, к высокому потянется – не так роптать будет.

– И то правда – от тоски-кручины я и сам взропщу в скорости! Ведь чем мы от мастеровщины-то отличаемся – такие же рабы пожизненные. Волю нам не дано выкупить, так хоть видимость ее иллюзорную в театре сыщем.

– Я такое и в Петербурге, и на Москве видывал. И у Шереметева, и у Воронцова, и у Юсупова свои театры устроены. А чем, скажите, наш граф хуже? Его сиятельство и сам, смею предположить, сыграл бы на сцене – не охнул! И семейство его знатное, я слышал, к наукам и искусству зело благоволить изволит.

– На том и порешим! – Афанасий Федорович твердо оперся обеими ладонями о стол. – Предвидя волю сиятель-

ную, разрешим театру занять пустующий склад, а вам, господин помощник приказчика, поручение спешное: помещение облагородить, обеспечить господ театралов дровами и разным имуществом, какому в заведении сём быть суть необходимо...

4

– А-а-о-о! Кхе! У-у-у! Ля-ля-ляя! – за разрисованной загородкой, изображавшей занавес, пробовали голоса артисты.

– Господа, нипочем нельзя подгадить, – нервничал режиссер. – Понравится обществу – будет у нас ого-го какой театр! Провалимся – на огненные работы всех вас сошлют, а меня – в кучера или портомой...

В первых рядах на новых креслах чинно расселась «чистая» публика»: принаряженная, в партикулярном платье – от бар не отличишь! Пахло кёльнской водой и духами. Дамы обмахивались причудливыми веерами, дети нетерпеливо вертелись, ожидая обещанного волшебного действия.

А позади, на галёрке – мастеровая разношерсть. Шумная, галдящая. Кто стоял, кто сидел, а иным уж и прилечь не мешало б. Кого силком пригнали, кто охотой приобрёл по случаю праздника, а кто и от нечего делать. Тут пахло трудовым потом, дёгтем и бедностью...

– Зырь-ка, Кирьяшка, а барыня-то с бородой, кажись. Как у кержака торчмя торчит – аль мне блазнится?! Свят-свят-свят! – заворожено глядя на сцену, молодой чумазый мастеровой толкнул локтем пожилого дядьку в чистом армячке.

– Дуралей ты! Это ж тиятр – понимать надо! Тут мужики в бабье платье обряжаются и псалмы поют. А потом пляшут да вирши бают. Так завсегда устроено! – наставительно

растолковал тот. – Я в тиятрах скоко раз бывал, когда в столице в услужении у графьев Строгановых состоял.

– Оюшки, да это же Аркашка Кетмень! – не унимался молодой. – И как базлат-то, сукин кот? Как дьячок по Псалтыри – умственно и голосисто! Таких слов-от мудрёных от него не слыхивал ране – всё мать да перемать... Гармозу расшаперит – и давай припевки с солью да перцем сыпать. А туто-ка на тебе – словно благородный...

– Жарь, Кетменько, напропалую! Нашенскую давай! – опознав в артисте знакомого, радостно заорали запьянцовского вида дружки его и даже попытались что-то не в лад да невпопад запеть.

– Да тише вы, черти! – зашипел на них Кирьян. – Не на завалинке, чай, собрались! Баранами заблеяли, пеуны осиплые... Имейте уваженье!

Но пуще Кирьяновых слов на бузотёров подействовал грозный взгляд заводского приказчика, что сидел на почетном месте в первом ряду. Он привстал, обернулся, расправил бороду и... Показалось, что сам Зевс сошел с небес, до того испепеляющ был его взор, а воздетый кулак завис кузнечным молотом – ну хоть сейчас на сцену!

– Дак мы ничо, батшко! Не гневись токо на нас, сиволапых, – суксились мужики и, содрав с нечесаных башок шапчонки, мигом приутихли.

– Закусывать надо, простодыры! – снова зашептал Кирьян. – Вот всыплют вам, кутейникам, по полста горячих, узнаете тогда, что такое тиятр и с чем его едят...

А мужики речь про еду-закуску поняли буквально. Театр наполнился аппетитным, но никак свойственным храму искусства запахом сала с луком и чесноком. Послышалось робкое почавкивание и неприлично свистящее бульканье – видимо, кто-то, умяв пирог, начал облизывать пальцы, да так смачно, что даже актёры занервничали и стали сбиваться со слов.

– Это же тياتр, а не харчевня, – рассердился Кирьян и со злостью выбил из рук горе-едока творожную шаньгу. – Выдь на воздух и жри там. Впёрся в лаптищах и смердит от паршивца будто от козла. Как на праздник в тياتр надо ходить, как в церкву!

– Не веньгай, стерво! А лучше растолкуй мне добром, об чем ряженные-то бают? Как представление прозывается?

– Да «Попугай», кажись...

– Каки таки попугай?! Ково пугают-те?!

– Бабушкины, сказывают... Не заполошничай, слушай давай! – осерчал Кирьян, но, подумав, все-таки объяснил соседу: – Птица это заморская, дюже баская, человеческим голосом изъясняться способна. Деньжищ стоит неслыханных, потому ее в золоченой клетке держут и на волю, как и нас, грешных, не выпускают...

– Во дела! А у моенной баушки всего и птицы-то – токмо Петя-петушок да курей с пяток насест давят, – рассмеялся мастеровой. – По-человечьи, брехать не стану, её кочет, конечно, не толкует. Зато уж поёт как – ни одному попугаю такого благозвучия не вытянуть! Ку-ку-ре-ку!

– Да помолчи ты, шалопут! Хлебнул поди опять ерофеича¹? Вишь, начальство до нас дозаривает – уштрафуют ведь, будут нам с тобой попугай, лешак их возьми...

А со сцены упитанный актёр, рисуясь и приплясывая, уверенно тянул женскую партию:

– Она как бабочка порхает,
Смеется, плачет, обольщает,
И ей никак не доверяй.
Она хоть с виду и прекрасна,
Зато лукава, зла ужасно,

¹ Ерофеич – старинная русская крепкая настойка на травах. В Прикамье считалась популярной среди простого народа. В источниках о ерофеиче впервые упомянуто в «Хозяйственном описании Пермской губернии» Никиты Саввича Попова.

И словом – это попугай!¹..

– Боже мой, ну почему же не хлопают? – режиссер не находил себе места, не услышав аплодисментов после финального выхода труппы.

А народ просто не ведал, как правильно выразить свое восхищение увиденным. Шуметь им не велели, поэтому мастеровые недоуменно молчали, вгоняя артистов в краску, а бедного режиссера в самоубийственное уныние. И лишь когда Афанасий Федорович Прядильщиков догадался встать и ударить в ладоши, люди, следуя его примеру, огласили зал «комедийного сарая» такой оглушительной овацией, что тот едва не рухнул...

– Говорил вам, сударь, что ничего путного из такой затеи не выйдет. Видано ли дело – чернь и искусство? Они все высокое опаскудят и спасибо не скажут, – противно нудил в уши Прядильщикову помощник приказчика. – А в сарае было б лучше листовое железо держать или короба с углём – всё полезительней.

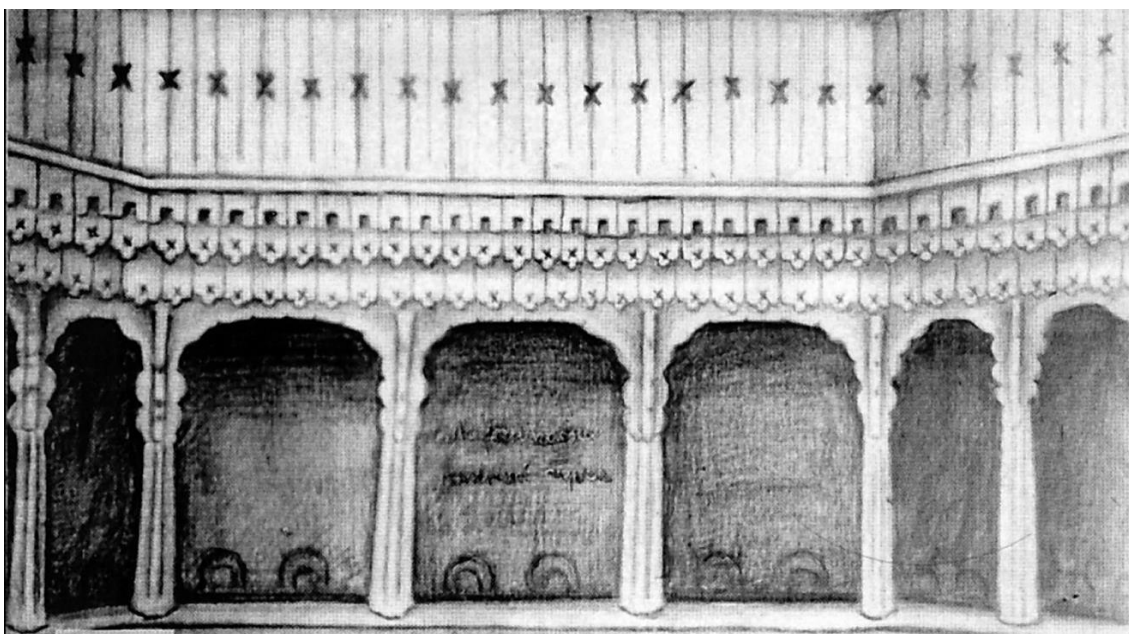
– Ничегошеньки-то вы не вняли в злобстве своем на простого человека, который кормит и поит вас, а вы ему в такой малости отказываете, – вздохнул Прядильщиков. – Не сразу Очёр строился, не с первой пьесы и люди поймут искусство высокое. Пройдет немного времени, и уже дети наши, верую я, станут не только понимать, но и созидать культуру российскую, науки всевозможные постигнут, доберутся до таких высот, что нам и в сладких грёзах не снилось. И сарай наш комедийный дворцом обернется. Тысячей дворцов! Потому как очёрцы – пытливые, настойчивые люди...

Эх, светлая была головушка – Афанасий Федорович Прядильщиков. Мало пожил, но много сделал. Недаром заслужил он высшее на всём белом свете звание – «Друг народа», кое не по наследству передается, ни за какие деньги не покупается и даже не Богом даруется – людьми!

¹ Из пьесы Н. И. Хмельницкого «Бабушкины попугаи».



Здание Очерского певческого театра



Интерьер театра: ложи для почетных гостей (1892 г.)



Петр Алексеевич Малых –
управляющий Очерским заводом,
режиссер Очерского театра



Павел Васильевич Сюзев
– офицер-артиллерист, ученый-
ботаник, актер и режиссер. Изго-
товил первый занавес для Очер-
ского театра.



Дом А. Ф. Прядильщикова. Именно в этом здании, вероятно, было
принято решение о передаче Очерскому театру «комедийного сарая»

Режиссеры и актеры Очерского театра (1922–2022)



Братья Верещагины



Инженю Лидия
Николаевна Пискарева



В. А. Нецветаев



В. Ф. Замысловских



А. Д. Чудинов



Е. В. Муршель



Т. Г. Колчанова



Р. В. Чечкин





Современная труппа Очерского народного театра под
руководством режиссера Т. Л. Поносовой

ДУШИ И ТЕЛА ВРАЧЕВАТЕЛЬ

– Постой-постой, барин! Мы подмогнём, не май руки-то свои золотые! – седовласый мастеровой в засаленном армяке перехватил из ладоней доктора Попова тяжеленный баул. – Федька, прохвост! – строго окрикнул он парня, что задорно щелкал на крыльце подсолнечным семенем. – Сплюнь лузгу да дуй сюды! И ты, Гераська, чего раззявился? Разуй шары-те, аль не видишь, что Ляксандру Николаичу нести неспособно? Хватайте чемоданы да шелгуны¹ и тащите в дрожки! Одним дыхом – ну!

– Да не стоит, право, тревожиться! – запротестовал было средних лет мужчина в дорожном сюртуке, насквозь пропахшем горьким амбре лекарств и снадобий, что за версту выдавало в нем врача, но с десяток молодых рабочих дружно разобрали поклажу и аккуратно погрузили её на повозку.

– Спасибо, братцы! Спасибо, любезные! – рассыпался в благодарностях Попов и достал уже портмоне, чтобы рассчитаться с помощниками.

– Ни-ни-ни, Александр Николаевич! – замахали руками парни. – Рази мы жмудьё² какое и креста на нас нет, чтоб с вашей милости деньги выцыганивать? Вы ж с нас гонорариев не брали! Ни копеечки с бедного люда не спросили за труды свои, и за это вечно будем за вас Бога молить...

На поляне перед графской больницей на все голоса гудела густая толпа людей – яблоку негде упасть. Даже на престольные праздники и в разгар ярмарочных торжищ не соби-

¹ Шелгу́н (*устар.*) – сумка, мешок, котомка для хлеба в дорогу..

² Жмудьё (*разг.*) – здесь: жадные люди.

ралось в Очёре столько народа разом. Тут тебе и мастеровые с семьями, мещане со чадами и домочадцами, крестьяне окрестных и дальних деревень, начальство заводское да земское, приходский батюшка с причтом. В небывалой тесноте богатые кафтаны тёрлись, безнадёжно пачкаясь, о промасленные робы; осеннюю грязь досуха утрамбовали сотни пар лыковых лаптей, смазных сапогов и женских бареток. Здание больницы, словно казачий табор в сражении, кольцом опоясали ряды телег и колясок. Проныры-воробьи сновали меж лошадиных ног, бойко потроша катыши конского навоза.

Разбитные подмастерья весело табакурили, нарочно дымя на угрюмых староверов, а те, утопив носы в роскошных усах да бородах, отворачивались – куда деваться-то, не драться же с имя, малохольными... Взрослые же мужики чинно вполголоса переговаривались, а древние старцы, приложив к ушам раковины ладоней, пытались услышать хоть слово. И лишь бабы, натуры завсегда более внимательные и чувствительные, прижав к уголкам губ кончики платков, пригорюнились и, то и дело роняя слёзы, судачили меж собой:

– Моему Васятке грызь¹ вырезал, а то как пить дать пропал бы парнишечка-то. Спаси его, Христос!

– А моённого-то мужика веред² замучил, башку не мог спровернуть! И от работы его отставили – хоть по миру не иди с котомой. Дак Ляксандра-то свет Николаевич живочки гниль-от из него выпростал, да еще пять дён сподряд проведовал, через пруд по льду в Зареку напрямки ходил. Как же мы без него-то будем, бабоньки? Охохонюшки...

– И не говори, жаль-то какая! Молодой Шафранихе помог разродиться. Помните, как три дни на весь Очёр благим матом орала, аж охрипла вся? Повитухи-то уж смирились, что помрёт в тягостях, за попом-батюшкой бежать хотели. А

¹ Грызъ (разг.) – то же, что грыжа.

² Вёред (разг.) – нарыв, гнойник.

доктор-от ногами на них, шептуний, затопал да прогнал со двора. И ведь спас и девку, и дитё! Александром назвали – не по святцам, а в честь милостивца нашего сердешного!

Несведущий, услышав эти причитания, мог запросто подумать, что доктор, царствие ему небесное, помер, и честной народ собрался на его похороны. Однако земский врач Попов был жив и в полном здравии. Как всегда, подтянут, свеж, борода кельнской водицей сбрызнута. Рубашка – белее белого, концы ворота торчмя торчат – накрахмалены. Волос длинный, по врачебной моде – шляпа не налазит. Глянешь на такого – сразу захворать захочется, и чтоб только он лечил тебя непременно!

Полтора десятка лет лечил он очёрцев, и многие были по гроб жизни благодарны Александру Николаевичу, что живут на свете. Скольких спас Попов, коих уже ангелы на том свете поджидали, – и не счесть теперь. Кого пластал да зашивал, других микстурами пичкал. Терпеливо приучал народец к гигиене, а от пагубных страстей отваживал. Вытравливал из мозгов вековые дремучие суеверия, терпеливо растолковывал, какие способы народного лечения весьма полезительны и медицинской науке не противны, а какие прямоком в могилу приведут.

Руки у Попова мягкие, но сильные: бывало, лишь прикоснется к больному месту, а уж хвороба отступает. Денно и ночью доступный, в любую непогоду готовый за тридевять земель выехать к пациенту, а где дорог нет – пешим порядком, без всякой гордости, шествует. И ведь, правда, денег не брал с болящих. Разве что с тех, кто побогаче и от своего богатического самодурства захворавших – кто блинами на Масленой обожрался или коньяками упился. А с бедных – только скромный подарунчик когда примет, да и то, чтоб не обидеть трудовой народ: пяток яиц или картошечки фунта два, ягод наберушку или холстинку вышитую. От чистого сердца люди

готовы были последнее отдать любимому доктору – лишь бы век в Очёре жил, благословясь...

А тут беда такая: заметили его умения и чуткость в главном городе губернии, и призвали на службу в Александровскую больницу. Как ни хотел Попов остаться в посёлке, но не мог: понимал, что пользы от него в Перми будет несравнимо больше. Страждущих там много, и со всех концов губернии каждодневно болящих везут – только спаси!

А очерцы затужили – жаль им расставаться с Поповым. Вот и провожали его на повышение, слёз не пряча, будто в последний путь...

– Прощайте, люди добрые! Не поминайте лихом! – Александр Николаевич снял шляпу и поклонился обществу.

И очерцы, все как один, по русскому обычаю – в пояс – ответили ему на поклон.

Чуть поодаль отдельной группкой стояло несколько человек господского вида – чины окружные да богатеи. С ними прощание было куда как прохладней. Не шибко-то жаловали они Попова, черные завидки брали их, что доктор в народной любви купался и почитался почти за святого угодника. Вроде они тоже важные да в костюмах строгих ходят, и нафиксатурины, и нафабрены, с народишком простым любезничают да панибратствуют, когда настроение подходящее, а гляди-ко – перед Поповым шапки снимают, а им только кланяются хмуро да через раз. А волю дай – и вовсе бы не здоровкались...

И всё почему? Мзды, видите ли, не берёт, чистоплюй, и форменное баловство с библиотекой народной затеял! Хорош гусь: благородного общества сторонится, стопки не выпьет за здоровье государя-батюшки да сословия имущего, в театре

кривляется в пьесках богопротивных Островского и Гоголя – изгиляется над очерским бомондом...

Александр Николаевич, по доброте и простоте душевной, об их мыслях козненных, о шепотках да сплетнях ничего и не ведал – знай, трудился. Попов был из той породы интеллигентов, чьи воззрения и мечты были неотделимы от судьбы и чаяний простого народа, а такими в Очере были не все. Близкий к народу – ближе уж некуда, он имел возможность воочию наблюдать, насколько любознателен и пытлив русский человек, что к делу подходит с выдумкой, вопросы, порой, задает такие, что весь ум переворошишь, а ответа так и не сыщешь. Интересы очёрцев уже давно простирались далеко за пределы общепринятых в господской среде понятий: дескать, простолюдину науки не надобны и даже вредны. Дело его, как говорится, телячье: отробил до седьмого пота, пожрал что-нибудь, чтоб не околеть, вылакал косушку хмельного, чтоб забыться, сплясал под гармошку, подрался с соседом или женкой – и в закут, дрыхни до следующего утра, а там все с начала...

Горевал Попов, что нет у бедняков возможности получать знания, что влечение к ним – свято место пусто не бывает – лукаво заменяет тяга к спиртному, к сквернословию и лени. «Не-ет! – думал Попов. – В лепешку расшибусь, а заведу в Очёре библиотеку-читальню – бесплатную, чтоб грамотные в чтение ударились и безграмотных к тому подталкивали!»

Томимый заветной мечтой, Попов решил поговорить с местной знатью, попросить ее потрянуть мощной на благое дело. Передовые-то люди разделяли его взгляды – их не надо было агитировать. Молодые окружные служащие, заводские инженеры, артисты Очёрского народного театра без всяких уговоров раскрыли свои кошельки и, сами люди отнюдь не богатые, всё до последнего грошика отдали на библиотеку. А

вот те, кто позажиточней да в чинах, начали выламываться, словно барышни капризные, галдеж подняли:

– Александр Николаевич! Да эта содрожь книги ваши на растопку пустит или на самогонку сменяет! Это же пьянь подзаборная. Им трактир или кабак нужны, а не читальня. Поймите, не денег жаль мне, а трудов ваших напрасных...

– Да что они поймут в книжках-то, неучи? Они и читать-то толком не умеют – все больше по складам...

– Глядят в книгу, а видят фигу, хе-хе!

– А я принципиально не дам! Я и нищим не подаю. Надо им читальню – пускай сами складываются и строят!

– Господа, господа! Да ну их эти книжки – толку от них... Давайте лучше пульку распишем или киями побалуемся. На все книги мира бильярдные шары не променяю! Александр Николаевич, загусарим шустовского коньяковича и айда в кухмистерскую, там печенку гусиную томят – на всю Торговую пахнет! Слюньками исхожу...

– Не стоит иронизировать по поводу неучености крестьян да мастеровых, им некогда за партами сидеть было – хлеб насущный добывать надо, – пытался спорить Попов. – А вот то, что среди нашего сословия праздного много балбесов стоеросовых да «митрофанушек» со «скалозубами» – это, господа, стыдоба несусветная. Неловко сказать, на весь округ едва ли десять человек журналы выписывают, а книг почти никто не покупает. Зато шары гоняют да в картишки режутся, будто каторжники. Мало того, что не читают, да еще и гордятся этим, хвастают: дескать, у меня и без книжек мошна лопается и добра полные хоромы... Они-то, понятно, в чинах, им ум да книжки уже без надобности. А вот рабочий люд любому печатному слову рад – книги пуще образов святых бережёт!

– Как же, как же! – возражали ему. – Начитаются такие всякой крамолы, а опосля бомбами швыряются! На самих ца-

рей, самодержцев российских покушаются! Свободы им, сукиным детям, надобно стало, видите ли...

– Верно-верно! Научите их уму-разуму, так они, пожалуй, и сами, без нас, людей благородных да образованных, управляться начнут. Глядишь, лет через сто вопрётся чернь в присутствия да конторы и усядется в наши кресла грязными портками. А нас за шкуру – и вон со двора!

– Убежден, что куда как раньше вопрётся, – заверил Попов. – Народ у нас сметливый, умом востёр! И если образованием вооружится, то оно сильнее бомб всяких рванет этот ваш уютненький мирок...

– Что ни говорите, а зря господин Грибоедов над Фамусовым смеялся. Ей-богу я тоже пожег бы все эти книжонки, кроме духовных да тех, что про любовь. И книжечек заодно – на одном костре!

– Нет, ну ежели разумные книги выписать – по истории российской или про чудеса, что в мире божьем существуют, тогда я, пожалуй, пожертвую красненькую на читальню, пусть их...

– Пушкин разве помешал кому или Карамзин? Можно ссудить, если не на крамолу какую...

– О чем спорим, господа? Многие из нас сами из мужицкого сословия в люди пробились! И чему благодаря? Книгам! Так пусть же очёрцы примеру достойному следуют! Заводите подписной лист, Александр Николаевич, и меня в брульон¹ смело вписывайте – сто рублей даю!

Нехотя, словно неповоротливый корабль на мелководье, общественное мнение все-таки раскачалось, мракобесы были посрамлены, и подписка собрала нужную сумму. Не далее, чем через месяц, просторное помещение купеческого дома заняли полки с книгами: Ломоносов, Державин, Фонвизин, наше всё – Пушкин, наше ещё – Лермонтов, Гоголь, Тол-

¹ Брульон (от фр. brouillon – черновик, *устар.*) – черновая бумага, набросок.

стой... А тут и Загоскин, и Сухово-Кобылин, и Лесков с Успенским. Книги нужные, справочники – домоводство, рукоделие, столярное да токарное мастерство. Учебники – естествознание, физика, математика. По большей части, издания скромные, на серой ворсистой бумаге в серых же обложках, но люди жертвовали из своих личных библиотек и богатые фолианты, подшивки старых журналов, где среди авторов читатели находили знакомые уральские фамилии: Кирпищикова, Решетников, Мамин-Сибиряк. Рад доктор Попов несказанно, жмет руки дарителям, и слезы на глаза наворачиваются – счастливые слезы...

Пришли первые посетители – робкие, стыдятся, что лаптями грязи нанесли, половики загаверзили. Из Скакунов крестьяне топчутся в дверях, перед входом шапки поснимали – крестятся, будто перед храмом. Ребятишки егозистые – те первые к полкам продрались, книжки, перед тем руки об штаны вытерев, листают и на картинки дивятся. Но вот уже мастеровой в средних летах обращается к служительнице:

– Милая барышня, мне б про Бову-королевича или Царя Салтана книгу, или на твой вкус что-нибудь для слуха усладительное – детишек перед сном побаловать, на вроде как вместо колыбельной!

Нашлось и про Бову, и про Салтана – осмелел народ, потянулся к полкам. Попов на очёрцев любуется: как сразу лица их просветлели, морщины разгладились, глаза заискрились – и куда подевалась угрюмая недоверчивость? Может, в скорости опустеют казённые да графские питейные, и станет люд очёрский говорить на нормальном русском языке? Пушкин да Толстой – не урядники полицейские и не куркули какие, художнику-то не научат...

Не любил Попов сквернословия, что и в благородной среде для связки слов частенько и бесстыдно потребляется, а в простонародье – так вообще самостоятельный язык. Сам никогда не ругался, хоть иногда и крепиться приходилось через силу, и других совестил.

Мастеровой Терентий, что приказал парням баулы грузить, был старым знакомцем доктора и в читальне первый гость. Столяр да плотник был известный далеко за пределами Очёра. Ладил Терентий Попову столы да стулья для больницы, койки ремонтировал, порошки да лестницы рубанком охаживал. Дивился Попов, как ладно спорится дело: с виду – тят-ляп, а все чудно выходит. На рабочем инструменте Терентий как на скрипке Страдивари играет. Одна беда, без приговорок «с картинками» и гвоздя вбить не может. Только и слышно: «мать-мать-мать» да «ёрш-твою-через-дырн» – и дальше вдоль да по улице... И винцом разит все время, будто от бочки пивной!

– Терёша, братец ты мой ненаулядный! Руки золотые у тебя, а рот словно ведро поганое – так и брызжешь матерщиной, как помоями. А рядом дети ходят да барышни – не хотят, да слушают твои побранки. Ведь слово мерзкое сказал ты – будто в господу Бога харкнул или в лицо родителям. Разве так можно, любезный?

– Батюшко, Ляксандра Николаич! Да у нас заводски-те, почитай, все до единого пьют да матькаются. Никто вроде в обморок-то покамест не сверзился. Дак как ино? Ежли, к примеру, молоток на ногу упадёт или лещ на рыбалке с крючка сорвётся – неужто не оскоробишься бранным словом?

– Ты ведь книги читаешь! С героями там и похуже что случается, но они-то не матюгаются, достоинство хранят. Ну,

ругнись как-нибудь не обидно, по-книжному – «*чёрт возьми!*» или «*вошь на гребешке!*»

– Ой, Ляксандра Николаич, чёрта лишний раз поминать – беду накликаешь, а матушку – Богу угодно.

– Да если твою матушку при тебе такой похабелю окрестят? Смеяться будешь?

– Пожалуй, не стерплю – в рыло дам, – почесал затылок мастеровой. – А вот Лёрмантов или, положим, Гоголь Николай Василич, неужли ни разу не послали никого куды подалее?

– Да, поверь мне, Терёша, побольше твоего знали они крепких словцов. Так могли завернуть – у тебя бы уши в рожок свернулись. Но не злоупотребляли всею, как ты, через слово. И бумагу не портили непотребством.

– Ой, да како там: батяня мамку материт, мамка нас, мы деда с бабкой, а они – всех подряд. Из веку так заведено... Тёмные мы...

– Вот тебе книжки: найдешь что конфузное, я тебе пять рублей дам. А не найдешь – зарок с тебя! Месяц не лаяться, рот не поганить. Святые отцы на пьяное дело клятву берут, а я на бранное слово! Годится?

– Годится, Ляксандра Николаич, – вздохнул Терентий. – Только сдается мне, что плакали ваши пять рублёв. Не может быть, чтоб мужик – пусть он писатель или даже жизни святой радетель – да не сматькался хоть раз.

– Месяц! Запомни, Терёша! – уверенно рассмеялся Попов. Он-то за свои пять целковых был совершенно спокоен.

И зарок таких брал доктор Попов во множестве и многих матершинников от заразной болезни под названием «поганный язык» вылечил...

Коляска, наконец, медленно тронулась. За ней вереницей шли люди. Кто уставал, останавливались, крестясь вслед на добрый путь. Иные по очереди подходили, шествовали рядом, держась за борт дрожек. Попов на ходу спешил отдать последние наставления:

– Ты, Аграфенушка, к знахаркам больше не бегай. Пей три раза в день, что я тебе прописал, и хворь пройдет. А вам, Степан Осипович, на свежем воздухе почаще бывать требуется. На огненных работах трудитесь, понимать надо! И винца – ни зеленого, ни пенного – ни-ни! А ты, добрый молодец, руку непременно мажь бальзамом, и с тяжестями впредь не балуй так, хвастун! И ступайте, по домам, любезные, и так уж далеко проводили – спасибо вам...

Но когда поредевшая процессия подошла к Павловскому отвороту, со стороны деревеньки Малаховой показалась новая толпа народу – словно крестный ход на святой день. Это жители Павловска, Пестерёво, Бурдино, Верх-Речек и даже из дальних весей ходоки – Грязново и Мыльников – пришли проводить доктора Попова.

– Господи, дай мне сил при всех не расплакаться! – Попов привстал на коляске и снова стал благодарить людей. – Спасибо за почёт и уважение, милые мои! Прощайте!

Кучер легонько стегнул лошадей и они набрали ход, уносясь вдаль по Таборскому тракту. Терентий стоял на середине пыльной дороги и долго махал вслед, пока коляска не скрылась за вековыми соснами.

– А ты чевойно, Федька, на солнышко лыбишься – предовольный, будто яичко снёс? – украдкой смахнув с бороды слезинку, повернулся он к дюжему парню. – Иль не жаль тебе, стервец, что Ляксандра Николаич покидает нас, грешных?

– А ты гли-ко, что он мне подарил, дядечка! – Федька сунул руку за пазуху и достал оттуда новенький учебник. – Учись, говорит, Федор, читай и слова мудрые в тетрадь выписывай. Мол, приеду, проэнзаменую! А когда читать-то мне? Завтрева снова в кузню – жариться до кирпичного цвету, пока шары не лопнут... Эхма, такого человека не удержали, теперича обовшивеем да коростами зарастём от пупа до маковки. А без чтений умишком совсем закоснеем и опять на деревья, будто облизьяны, взберемся, как к книжке у господина Дарвина прописано! Не приедет, поди, Александр Николаич, забудет про нас, грешных...

– Плохо ты его знаешь!

Зимой Терентий был вызван в заводскую контору.

– Принимай бандеролину! – крикнул ему служитель, кивнув на тяжелый ящик. – Тяжеленная! Золото там, что ли, хе-хе?

– Бери выше – книги! – Терентий приоткрыл крышку и, увидев плотные ряды томов, счастливо улыбнулся. – Не забывал про Очёр Ляксандра Николаич! Самому не досуг было приехать – дело ясное, но гостинцы самые нужные для нас передал. Дороже они золота, намного дороже...



Здание земской больницы в Очёре



Здание библиотеки-читальни в Очёре



Земский доктор
Александр Николаевич
Попов
(1857– после 1915)



Карандашный портрет
А. Н. Попова
(автор неизвестен)

ПЕРВЫЕ БУРЕВЕСТНИКИ

– Эгей! Стой, кому говорю! – гулким басом, будто бурей, окатило закрайнюю поляну Барского леса, да так властно и громко, что все птицы разом примолкли в гнездах, а тотщий мужичонка весь сгорбился и присел, выронив из рук вязанку валежника. Испуганно озираясь, он вглядывался в чащу, откуда прозвучал поистине медвежий рык, и стал нащупывать на траве брошенный топор.

– Эй, не дури! Что ты там, братец, за спиной прячешь? – из-за деревьев, к счастью для мужика, показался не медведь, а дюжий лесничий в брезентовом плаще и кожаных броднях, чье появление, впрочем, тоже ничего доброго браконьеру не сулило.

– Ей-ей, ничего, Петр Егорыч! – мужичонка с одновременным страхом и облегчением откинул в сторону топор. – Прости, батюшко, бес попутал!

– А-а, это опять ты, Соромотин? – цепкие пальцы ухватили воротник жалкой одежки порубщика. – Я тебе что велел? Не ходи в Барский лес! Не пакости здесь, не рушь красоту божью! – приговаривал лесничий, в такт словам отмеряя мужику подзатыльники, от коих голова у того дергалась, как у китайского болванчика.

– Отец родной, Петр Егорыч, да помню я доброту-ту вашу! Я ж только два оберемочка и взял сухостоя да корья. На растопку – баньку с шурином затеяли не в срок, будь она неладна! То я и припёрся в Барский лес-от, чтоб далече не издить, лошаденку не маять, – хитрован-мужик уже учуял, что лесничий на этот раз в духе, поэтому серьезной взбучки не будет. А отхлещет маленько – не беда! Крестьянину российскому привычное дело быть битым да поротым. – Отпусти ты меня, за Христа ради! А я тебе, буди, опосля земляни-

цы наберу на взвар – ее нынче на Торсуновских угорах пропасть покраснело!

– Ладно, не сепети! Ступай прочь с глаз долой! – лесничий наметанным взглядом успел узреть, что старый его знакомец в лесу не нагадил и живых деревьев не тронул. – Но еще раз заруби себе на носу, Евдоким, и другим передай: увижу кого здесь – не обессудьте, сниму портки и вон на тот муравейник, как на царский трон, мягким местом усажу! И реветь да чесаться не позволю – так сами в тюрьму запроситесь!

Евдоким проворно закинул за спину две вязанки, третью прищемил подмышкой и бодрой рысцой потрусил в сторону видневшейся вдали деревеньки.

– Топор-то позабыл, шатун! – крикнул вдогон лесничий, но мужик был уже далеко. Сунув топорщице за широкий пояс, Петр Егорыч иерихонски трубно высморкался и широким шагом хозяина леса двинулся в сторону Морозовского отворота.

Петр Егорыч уже второй десяток лет трудился служителем леса. Начинал простым лесообъездчиком и старанием своим дошел до помощника окружного лесничего. Сам, царствие ему небесное, Михаил Яковлевич Россомагин учил его лесным премудростям и особенно первой их них – не просиживать штанов за кабинетными столами, не тереться в конторах, а все свое время посвящать лесу. И летом и зимой, в вёдро и в ненастье. Болен? Не велика печаль – лес вылечит! Приучал Россомагин холить и лелеять зеленые богатства, знать каждое дерево – чем оно дышит, чего от человека ждёт. Полюбил лес Петр Егорыч пуще жены-красавицы и, как божились суеверные верх-очёрские крестьяне, умел разговаривать лесничий и по-осиньи, и по-сосновьи, а еще с медведями

дружбу водил – пивал с ними водчонку в дальних буреломах да на расщепленных пнях музицировал...

В тот день Петр Егорыч поймал уже четвертого горепорубщика. Острым слухом он за несколько верст улавливал стук топора или визг пилы, спешил на звук – когда верхом на лошади, а чаще напрямки – пешедралом. В первые годы нового XX века количество самовольных порубок возросло в разы и исчислялось уже десятками тысяч погубленных деревьев. Если считать попенно, то только ценных пород – лиственниц и мачтовых сосен – в Очёрском округе было спилено не меньше тысячи стволов. И не все браконьеры были такие смирные, как Евдоким Соромотин. Все чаще попадались субчики, что нагло и бесстрашно лезли на рожон, с топорами бросались на лесную стражу, норовили за краденое бревно жизни лишить. Но Петра Егорыча сторонились – себе дорожке! Потому что за свои родные деревца он эту самую жизнь потерять не боялся...

«Осатанел народец! Довели, знать, до ручки, – вздыхал лесничий; даже ему из своего дремучего леса было видно, что бедный люд – заводские мастеровые и крестьяне ближайших к Очеру деревень – живут плохо, последнюю кочерыжку без соли доедая, а поэтому обозлены и готовы на всё. – Если так пойдет, никакая сила народ не удержит – полетят клочки по закоулочкам...»

А ведь Петр Егорыч помнил, что еще совсем недавно весь Очёр с его обширными окрестностями в страхе божьем держали, не считая заводской полиции, всего-то четыре служивых чина: пристав, урядник да два стражника-перестарка. А теперь все они боялись по улицам ходить. Рабочие открыто посылали блюстителей порядка и закона по самым отдаленным и неприличным адресам, грозились при случае устроить «тёмную». Одного из стражников, который больше всего докучал очерцам своими придирами и грубиянством, однажды все-таки словили в глухом переулке и, словно шелудивого

кота, засунули в мешок. Кто-то даже предложил по-тихому утопить наглеца в пруду, но до точки кипения «самовар» бунта еще не дошел, поэтому рабочие сошлись пока на том, чтоб надавать хамлюге пинкарей и вымазать харю куричьим помётом.

С очёрскими мастеровыми слад вообще было труднее найти, чем с забитыми крестьянами. Терять-то им вовсе нечего было, особенно, когда завод совсем захирел. Землицы их практически лишили: после отмены крепостного права с наделами их здорово надули, и по этому поводу рабочие вели безуспешно долгую и нудную тяжбу со Строгановыми. Но лес-то ведь и им был нужен, а все леса – тоже графские. Не то, что дерево срубить – травинку попробуй скосить! Попадешься – штраф или застенок Оханской тюрьмы, в которой порубщиков напихано, как сельдей в бочке – спят и то по очереди... Надо лесу – да пожалуйста, хоть сто возов пили! Только билет купи – а он денег стоит и немалых. Откуда они у крестьянина или мастерового?

Петр Егорыч сам возмущался: дескать, в лесном краю, а простолюдину и дощечки было негде достать. Лесничий не раз докладывал по начальству, что можно выделить для народа за малую мзду несколько делянок старого леса: мол, он все равно так и так пропадёт. А на расчищенных угодьях высадить новые деревья, по росомагинской методе. Однако ж в конторе Петру Егорычу для виду кивали да поддакивали, брали записки, даже, пенсне на носы насобачив, читали с показной озабоченностью и... клали под сукно да в долгие ящики. Как только Петр Егорыч за порог – конторщики ехидненько подсмеиваются и у висков пальцами покручивают: вот еще забот мало, как занятым людям о крестьянских сараях вонючих головы ломать...

В верх-очёрских деревнях большинство изб походило на заброшенные охотничьи балаганы – уныло покосившиеся, кое-как подпёртые прогнившими столбушками, с рваными

прорехами на замшелых крышах. Во дворах и того хуже: на дырявых повитях прело сено, в пообвалившихся стайках мерзла тощая скотина. Да что скотина – не раз в местных церквах отпевали горемык, раздавленных бревнами обрушившихся домов...

Да, не от хорошей жизни крестьяне ходили в леса на злодейский промысел. Целыми семьями, а то и артельно – деревнями! Петр Егорыч по долгу службы обязан был арестовывать таких и доставлять пред светлы очи приставу или исправнику. Сколько слёз чужих он повидал, сколько причинений на пропащую жизнь наслушался от бедных порубщиков, пока вел их лесными тропами в Очёр на расправу. Знал Петр Егорыч, что если не заплатит крестьянин штраф, посадят его надолго, а могут и на каторгу отправить – осиротеет, пойдет по миру, а то и вовсе перемрёт оставшаяся без кормильца семья. Вздохнет лесничий, достанет кошелёк, сунет такому бедолаге рублишко или горстку монет, а тот еще и благодарит, чуть не руку целует...

Поэтому у Петра Егорыча – хорошо это или плохо – было свое собственное правосудие, несомненно, более гуманное, чем царское. Ловил и не пустил он только отъявленных губителей леса, которые ради одного бревна готовы были вырубить все вокруг, истоптать, истерзать топорами молодые посадки. А сирых и убогих – по большей части отпускал с миром. Таких сердобольцев, само собой, на всем свете и во все времена начальство не больно-то жаловало.

– Либеральничаете, Петр Егорыч! Что-то маловато самовольщиков изловили, – осторожно пеняли ему графские управители, потому что сердоболен лесничий был только к обездоленным, а господ белоруких не шибко-то уважал и не осторожных, гонор свой напоказ выставлявших, так мог отбрить, что слабые в коленках в обмороки падали. Что и говорить, сам исправник откровенно его побаивался и в беседе произвольно скатывался на словоерсы, как мелкотравча-

тый чинуша перед тайным советником: «Благодарю-с! Недурно-с! Еще рюмочку-с?»

Исправника, как и других, понять было можно, ибо страх внушал Петр Егорыч одним только обличем: лесничий был похож на медведя, на которого потехи ради зачем-то надели сюртук. Что в высь, что в ширь – почти одинаков. Кряжист, мускулист, ядрён: если двинется резко – швы на одежде угрожающе трещат! Крупная голова, постриженная под практично-демократичный ёжик, сердитый взгляд круглых серых глаз, густая жесткая борода шерстится, как у покойного Александра Третьего Миротворца.

И не только вид, но и силищу зверскую имел Петр Егорыч. Ладонь у лесничего – что тигриная лапа! Руку пожмет такой – можно сразу к лекарю идти. Короткими пальцами он на пари в лепешки плющил медные пятаки, резким ударом протыкал печные заслонки, словно бумагу. По праздникам, подвыпив, баловался старинными русскими забавами: подсаживался под жеребца и не просто поднимал его, а несколько раз приседал с тяжелой ношей; одной рукой удерживал пароконную телегу, при этом галантно кланяясь дамам и попыхивая папироской; на вытянутых руках с нарочитой небрежностью большим и указательным пальцами, как нагадивших котят за шкварник, держал два пятипудовых куля с солью. А вот подковы не ломал – берег имущество, и на кулачки не дрался, даже если очень просили захмелевшие силачи – из страха. Но не за собственные, конечно, зубы, а за жизнь и здоровье соперников. Памятовал, как в молодости, когда еще и не так могуч был, в сердцах врезал на ярмарке раздухарившемуся пьяному купчику, так того едва водой отлили, и до сих пор, бедняга, шастает по земле косой на бок и веком подергивает...

– А я вам, сударь, не сыщик, а служитель леса! – сочно выговаривая каждую букву, гудел Петр Егорыч, и чиновник сразу делался будто меньше ростом. – Извольте сомневаться

в моём усердии? Так снимите штиблеты лаковые и штанцы свои, хм-хм, полудамские, наеверьте сапоги, ружьецо не забудьте, а лучше сразу два – и шествуйте в лес, посчитайте пни да деревья, если заплутать не боитесь, конечно! Бывали в лесу-то хоть разок? А-а, и веревку подлиннее прихватите – браконьеров вязать! Они вашу милость узрев в этаким-то нелиберальном виде, вмиг на коленки падут и пардону запросят... Ух, крапивное семя! – И так шарахал дверьми, что на конторщиков меловым снежком осыпалась древняя штука-турка.

– Господи Иисусе, – поджав хвост, с облегчением крестился чиновник. – Леший, а не лесничий! Вот нечистый дернул меня за язык! Да слова ему больше не скажу, пускай он скорее катится в свои леса непролазные, медведюшко этакой, пусть там зверьё пугает, а у нас тут не тьма берложья, а приличное общество – тишь да гладь.

Однако гладь, быть может, кое-где и осталась, а вот тишь по-над бором зеленым, над прудом широкущим да на поросших рябиной и акациями улицах, похоже, закончилась. Стремительно бедневшие мастерские Очёрского завода новых обид от властей сносить не собирались и прежних тоже не забыли. Все чаще они зубатили начальству, волюнили срочные работы, портили инструмент в отместку за произвол администрации. Стихийный порыв в конце концов перерос в забастовки. Первыми взбунтовались рабочие механического цеха: им нахально задерживали и без того уполовиненное жалованье, заставляли в счет него отовариваться в графских магазинах – втридорога, естественно; задушили несправедливыми штрафами и пенями. Две недели они простояли под окнами правления, выкрикивая проклятья в адрес заводского начальства, а порой непечатные слова касались тех особ, которых прежде задевать и вовсе не смели. Своим упорством мастерские вынудили-таки администрацию выплатить им больше 15 тысяч рублей, но поношения и вольные предерзо-

сти рабочим припомнили: зачинщиков под разными предложениями с завода выперли, а бывшего сивинского учителя, слесаря Петра Хренова, как только мастера вернулись к верстакам, полиция арестовала – дескать, не мутит народ...

Шел 1905 год – предвестник чего-то страшного, бурлящего, клокочущего в дыму и крови, но отчего-то все равно желаемого ижданного большинством простых очёрцев. До Очеры докатились слухи, что в обеих столицах рабочие уже не просто царя Николу да его сановников матюгами обкладывают, а и вовсе за оружие взялись! Да и совсем рядом – всего-то в ста верстах – в Мотовилихе, куда из-за безработицы уехало много очёрских мастеровых, прямо на улицах пуляют в полицию и казаков, за ворота проходной вывозят на угольных тачках ненавистных заводских управителей и сваливают их в грязные лужи. Приезжающие на побывку очёрцы, с восхищением рассказывают о новом Стеньке Разине, объявившемся на Урале – рабочем атамане Сашке Лбове, который держит в первобытном ужасе угнетателей бедного люда. Непокойно и в Добрянке, Полазне, Чермозе, Лысьве. А чем Очер хуже?

Во время майской ярмарки на сенной площади посёлка кучковалась толпа мастеровых. Обыватели не сомневались: дескать, гоношат работяги рублишки по карманам, мелочь из прорех выковыривают – соображают в законный праздник, где б достать да добавить. Вона, глянь-ка, морды красные у всех, голоса громкие – подхохатывают, прохожих задирают, бабенкам зады пощипывают. У двоих на плечах гармони мехами вниз отвисли, а остальные уж приплясывают в нетерпении – аккомпанемента ждут. Вот-вот сейчас на весь Очёр заиграет «Уморилась, уморилась, уморилась!»...

Но тут один из мастеровых – Федор Балахонов – воровато оглянулся, просунул руку за пазуху и вытащил – что б вы думали – не бутылку с самогоном, а кумачовое полотнище! Дмитрий Гусев с Василием Волеговым выклянчили у ка-

кого-то крестьянина грабли, отломили черенок, прикрепили материю к древку – и получилось самое настоящее красное знамя! Балахонов выпрямился и поднял флаг высоко над головой. Рабочие приосанились, словно заправские солдаты, выстроились в колонну – и куда только делся запьянцовский вид? Урядник, что ярмарку охранял, с перепугу выронил прямо на мундир конфискованное лукошко с яйцами, а вместо свистка засунул в рот непонятно как оказавшийся в ладони пистик и попытался дудеть, призывая народ к порядку. Его прихвостни-стражники, увидав такое дело, поспешили с площади смыться: почуяли, что тут уже не жареным пахло, а на костре палёным!

– Долой самодержавие! – раздался первый робкий возглас, вскоре подхваченный неслыханным в Очёре дружным разноголосьем. – Доло-о-ой! Да здравствует свобода! За равенство! Даешь 8-часовой рабочий день! Уррааа!

– Земли-и-и! – вдруг тоненько закричал крестьянин, чьи грабли пошли на древко первого открыто поднятого в поселке красного флага. – Хотим земли-и!

Колонна под гомон и крики очерцев медленно двинулась вниз по главной улице. Один из демонстрантов расправил гармонь, прошелся по кнопкам, подбирая незнакомую мелодию. Озорно огляделся и грянул:

– Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног! – никогда еще Очёр не слыхивал слов рабочей «Марсельезы». А это тебе не «Я на горку шла»! – Вставай, поднимайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный!

Полицейский пристав как раз закусывал привычную полуденную чарочку, готовясь перекрестить рот в хвале Господу за преподнесенную благодать: и водочка-то у него смирновская, и супруга гладкая, и служба спокойная – не служба, а службишка. Но услышав из-за окна про прах, борьбу и голодный люд, поперхнулся соленым рыжиком. Выглянув на

улицу, пристав увидел красный флаг и разом позабыл всё, чему его учили. «Бунт-бунт-бунт!», – страшным ритмом ёкало сердце, и руки ходуном заходили от препротивной дрожи. «Что делать-то, что делать?», – блюститель закона, схватив револьвер и пашку-«селёдку», кинулся прочь из дома, впервые в жизни позабыв надеть фуражку и поцеловать жену в румяную щеку...

А мастеровые тем временем дошли до правления, спустились к заводу, покричали лозунги и поворотили обратно. Когда процессия шествовала мимо церкви, какой-то молодой дурень птицей взлетел на звонницу и убедил звонаря, что эта демонстрация – вовсе не чертовщина какая-то, а самый настоящий крестный ход с особым молебствием. И тот, ничего не поняв, дунул в колокола!

Больше шести часов в Очере власть была рабочей – из начальства к демонстрантам так никто и не решился подойти. Рабочие и сами бы разошлись, но тут со стороны Зареки на них галопом понесся полуэскадрон конной стражи: это пристав, наконец, пришел в себя, и дозвонился до Оханска, откуда спешно направили подмогу. С той поры в Очере закон блюли уже не четыре служителя, а десять раз по четыре: стражники день и ночь парами патрулировали центральные улицы, а на рабочих окраинах на донских конях гарцевали презлucie и нервные казаки, похлестывая нагайками по спинам дерзких мастеровых и по подвернувшимся под копыта курицам...

В аккурат сразу после демонстрации Петр Егорыч обнаружил в Барском лесу, приколотую к сосне мятую листовку, написанную корявым мужицким почерком. Подмётная бумага призывала крестьян вспомоществовать заводским мастеровым в зарождавшейся борьбе за права и свободы: дескать, по всем городам и весям бунтует народ, потому как нет тер-

пенья от помещиков, кулаков и буржуев – не платите подати, боритесь!

Петр Егорыч отнес прокламацию своему начальнику – окружному лесничему Еремею Малькову. Отнес вполне по адресу, так как в бумаге была приписка: «Бейте в зубы Ерёму!» Мальков из всех угнетателей был самый развреднющий, он угрызениями совести особо не страдал, когда подгонял под суд самовольных порубщиков: взглянет из под очков безглаголиво на осунувшегося от стыда и голода крестьянина-лапотника, подмахнет бумагу и не поморщится: злоумышленника – в кандалы, а сам Мальков, откушав кофею, шел на репетицию в народный театр. И ведь играл все больше благородных и прекраснородных, а жил – с точностью до наоборот, за что Петр Егорыч его, мягко говоря, сильно недолюбливал.

– Ах, смутьяны, ах-ах, негодяи! – взбеленился Мальков. – А вы куда глядели, Петр Егорович? На ваших же угодьях эту мерзость пришили! Неспроста-а! Знают, бестии, что вы их жалеете...

– Не утруждайтесь криком, господин Мальков! – Петр Егорыч навис над столом начальника. – Эти инсургенты только угрожают, а я могу и зубы пересчитать, не погляжу, что вы – моё начальство и коллежский секретарь! Вы меня знаете...

– Непозволительная дерзость! Не премину доложить о сём непотребстве по инстанции-с!

– Да на здоровье! – усмехнулся Петр Егорыч. – И еще раз повторяю, я вам не доводчик! Если б они эту сосну срубили, тогда схватил бы, конечно, и к вам на расправу приволок. А бумажки меня не касаются – сами разбирайтесь. Вот только скажу как на духу: народишко доселе смирный и покорный вы и такие, как вы, сами замутили, потому что совесть напрочь потеряли. Творите, что хотите, плюете на людей. Тут и у скотины бессловесной терпёжка лопнет! Лошадь

и та, если об ее хребет кнутовище изломать, начнет взбрыкивать да копытами лягаться. Вы, господин Мальков, не меня вините, а на себя пеняйте! Читайте-ка листовку внимательно: там про вашу душу писано, не про мою...

— Ах! — притворно схватился за сердце Мальков. — Медведь! Грубиян! Радикал! Секретарь — воды! Умираю...

«Определились бы уж, кто я таков — либерал или радикал?» — усмехнулся Петр Егорыч. Он, конечно, ни тем, ни другим не был — сам себе на уме считался, но запрещенное кое-что почитывал, и куда как пострашнее подобных листовок. Через его родственника с железнодорожной станции Вознесенской в Очер попадала нелегальная марксистская литература, которая призывала не просто по зубам богатеев лупцевать, а и вовсе их власти лишать. Вместе с головой, желательно...

В сосновом бору и Барском лесу, что Петр Егорыч самолично выхаживал, собирались на маёвки молодые рабочие и служащие Очерского завода, недовольные властью, не признававшие ни царя-батюшку, ни заводского начальства. Собирались под видом чаепитий — конспирацию блюли, но их «тайные вечера» не могли ускользнуть от острого глаза опытного лесничего. К лесу они относились бережно, разный хлам на полянах не разбрасывали, огнем не баловались, за что Петр Егорыч их привечал, угощал, порой, лесными дарами — туесок черники подарит или грибов наберет. А до политики ему дела не было — лишь бы не пакостили на природе...

Центральное место на лужайке занимал самовар. Старенький, прокопченный, кой-где лужёный, но все равно важный и пузатущий как архиерей. Барышни собирали для него шишки — изящно, в подолы. Парни через колени ломали сухостой, потом кто-нибудь стаскивал с себя яловый сапог и, словно кузнечным мехом, через трубу раздувал им шишечный жар. На скатерти, которую маёвщики называли самобранкой, сдобной горюшкой высились пирожки-посикунчики,

теснились кулёчки с пряниками, блюда с холодными закусками — кто чем был богат, тот то и принес на общий кошт. В уголке на старой театральной афише пачкала золой бумагу только что вынутая с пылу-жару печеная картошка, обсыпанная кристаллами крупно помолотой соли. В прохладе под кустиком ждала лесного застолья корзинка с бутылками. Со стороны глядеть — обычный обывательский пикничок, а никакая не маёвка, на которой за чаем да винцом зеленым обсуждались до жути крамольные дела...

Петра Егорыча каждый раз приглашали к костерку и самовару — неловко ведь не позвать хозяина в его-то собственных владениях. Лесничий всех знал наперечёт: кто чей сын или дочь, кто где служит и кто за кем ухаживает. Люди были уважительные, добрые, хоть и в смутьянство подались, поэтому Петр Егорыч старался уберечь их от неразумных шагов, деликатно призывал к осторожности. Он снисходительно наблюдал, как горячо поспорив, маёвщики так же быстро остывали, переходили к далеким от революции темам: какие овсы взошли, почем галантерея у лавочника Смирнова и что за домину отгрохал на Торговой улице заводской приказчик... Наметанным глазом Петр Егорыч видел, кто до конца пойдет за идею, а кто остановится на полпути, когда поймет, что встав под ее знамена, за эту самую, пусть и очень славную идею придется не только страдать и даже умирать, но и убивать живых людей. Может быть, даже тех, с кем еще недавно вот так мирно чаевничал.

«Пашка вон отвлёкся, умные речи ему наскучили, зевает во весь рот — аж кишки видать. Сок одуванчиковый с модных портков счищает, папироску пажескую жеманно мнет меж пальцев — этому франту от революции только лоск да блеск надобны, — иронично судил маёвщиков лесничий. — Никифор, наоборот, хмурится, дергается, перебивает всех, слюнями брызжа: нетерпелив дюже, доскачется быстро — заарестуют ерепеню за милую душу... Лизавета — та навроде сурьезная

девушка: беда как много думает. Эх, много, но больно уж туго — гляди и вовсе передумает: замуж позовут — и прощай борьба да красные знамена!»

Но большинство молодых людей искренне верили в свое дело, хотя пока и не совсем понимали, с чего начать борьбу — сразу за кистени хвататься или сперва мозгами поколобродить, словом проникновенным пошатать власти пре-держажие? Книжки книжками, но не все ж в них прописано — надо своим умом доходить до сути, а то и на собственной шкуре испробовать, почем фунт лиха.

«Вон знакомец старый — писарь из лесничества Пётр Чазов, строчит что-то в тетрадочку, очки запотевшие протирает. А рядом два его брата — Жора и Макся. Гена Пьянков, братья Вологдины, Скорынины, Гусев Митрий... Это парни ответственные, несуетливые, надежные, — Петр Егорыч оценивающе оглядывал компанию заговорщиков. — Или заводской шорник Федор Шилов, которого кличут диковинным прозвищем — Апостол. Всяко не за долгую гриву, что многие революционеры из форса растут, подражая народовольцам, а за долгий ум и поведение примерное — ни вином, ни подлостью душу не поганит».

Очень удивился Петр Егорыч, когда однажды на лужайке увидел заводского инженера Николая Любимова и свою соседку-хохотушку Фросю Попову. Ему привычней было зреть их на сцене Очерского театра. «А тут-то что им надо? Вроде ни житьем, ни ликом не пролетарии, нужду отродясь не мыкали. Зачем им смуты да революции? Пой да пляши себе, каблуки оттаптывай! — думал лесничий. — Хотя уж если такие против царя идут, худы у Его Величества делишки».

— Ефросиньюшка, солнышко, брось баловство-то опасное, не женское это дело, не про тебя оно! — отведя в сторонку, увещевал девушку Петр Егорыч. — Это же не театр. Тут не помидорами тухлыми закидывают, а бомбами! И не понарошку, а всамделишно...

– Петр Егорович, вся наша жизнь – театр! – смеялась Ефросинья Захаровна. – Мы тут, как видите, персонажи все как есть положительные, а богатеи да их благородия мерзавцев представляют, хотя им и лицедействовать-то не надо. Только вы, никак не пойму, какую роль играете? Пора уж определяться – с народом вы или господами...

«Эх, доиграетесь вы, ребятки», – покачал головой Петр Егорыч – и как в воду глядел. Осенью 1906-го труппа Очерского народного театра, половина которой тайно состояла в социал-демократической партии, все-таки достукалась. Артисты решили обмануть исправника и поставить запрещенную властями пьесу Максима Горького «На дне». Но кто кого обмишурил, стало ясно по завершении спектакля – за кулисы как снег на голову нагрянула полиция и арестовала больше половины актеров. Прямо в гриме и театральных костюмах повезли их под усиленным конвоем на простых телегах в Оханскую тюрьму. Не дурачок был исправник – шельмец дошлый и соображулистый! Долго проворил он операцию по поимке революционеров, намылился разом накрыть всю организацию, поэтому, погасив в пышных усах усмешку, притворно завизировал нелегальную пьесу...

Но больше всех Петру Егорычу глянулась молодая учительница Леночка Пищалкина. Ведь совсем пигалица, голошишко тоненький, как у птенчика – прям под стать фамилии, а гляди-ко – верховодила всей компанией смутьянов! Ей бы, крохе такой, в куклы играть да в альбомчики стихи амурные записывать, а она лихо вертит в руках тяжелый солдатский револьвер и прокламации сочиняет. Знал Петр Егорыч, что в ее доме на Мызе – явка подпольщиков; слышал, как братья Леночки Николай да Иван, что в Питере учатся, когда на побывку приезжают, то в подарки не платочки да монпасейки ей привозят, а книги и газеты подзапретные. А мама Пищалкиной Надежда Александровна – с виду безобидная дамочка, на гороскопах да огородных грядках помешанная, в

голке вместо банок с вареньем гектограф держит и листовки множит! Да вот беда: знал об этом не только Петр Егорыч, но и другие, кому язык за зубами удержать – вовек не стерпеть. А может уж и сам исправник...

– Любезный Петр свет Егорович! Сходите, пожалуйста, на развилку, покараульте нас, пока я статью читаю! – командовала Леночка, и медведь-лесничий, коему и губернатор-то бы указывать поостерегся, сам не понял, как покорился этой вежливой крохотуле и послушно встал на часы.

Правду молвят люди: не суди человека по внешности – лучше в деле его оцени, в чем Петр Егорыч в очередной раз убедился, когда на одну из маевок пришел таинственный незнакомец – тощий как вяленая сорога, чернявый юноша. Представился псевдонимом – товарищ Андрей, но очерские девушки неконспиративно проговаривались, ласково называя его Яшей. Блестя стекляшками пенсне, он то и дело бросал взгляд на могучую фигуру Петра Егорыча. «Ишь ты, словно полымем жжет шарами-то», – усмехался лесничий и вслушивался в слегка картавую бойкую речь парня. Говорил он о воле, о братстве и равенстве, старался заразить своих слушателей революционным энтузиазмом. Вещал о партийной дисциплине, о тюрьмах и ссылках, о грядущих битвах не на живот, а на смерть. Но большинство ребят, услышав о вооруженной борьбе, куксились и сникали.

«А этот Яша-Андрюша зазеленить штаны не боится, на такие мелочи не отвлекается, – думал Петр Егорыч. – Сразу видно, что далеко пойдет, если не пристукнут жандармы. И, главное, готов зайти до самого края, вторгнуться в неведомое и немыслимое, решать вопросы, которые и сам Господь Бог разбирать робеет. Эх, горе тому, кто обманется незавидной внешностью этого товарища. Куда вам, до него, телки да тёлки очерские! Не собрать тебе тут, Яша, рекрутов в боевые дружины, ой, не собрать». Но Яков Михайлович Свердлов был не по годам умен и уже давно сам всё понял...

– Ладно, будем создавать ячейку РСДРП! – переводя дух, устало промолвил молодой большевик. – Кто «за»? – оглядел он собравшихся, чуть брезгливо скривив губы.

Руки подняли все, однако кое-кто из юных заговорщиков, услышав про рабочую партию, зарекся в будущем в лес ходить, кроме как по ягоды-грибы. Партия – это вам не «Марсельеза», одной тюрьмой не отделаешься...

– В следующий раз глубже в чащу уходите маёвничать, эРэСДееРПе! – вздохнул Петр Егорыч. – Не ровен час, застукуют всю вашу партию и по сибирьку погонят, чаю не дадут испить. Разговоров да пересудов и так уже много про вас по Очеру гуляет – стражники уши греют, даже сплетнями не брезгуют. Исправник уж справлялся о ваших чаепитиях. Не прогневайтесь, не обессудьте, но сказал ему, что вы тут водку пьете да по кустам щупаетесь. Вот и вся, мол, политика. Но вижу, не верит мне...

Зарядил дождь-обложник. Свердлов закутался в кургузую куртёшку и поднялся с земли.

– Прощайте, Петр Егорович! Спасибо вам! Может, свидимся, – и его тонкая в синих прожилках рука с музыкальными пальцами утонула в ковшистой лапище лесничего, словно кашик в чугушке с пельменями...

А в другой раз Петру Егорычу встретился иного рода смутьян – высоченный, сильный, коренастый, заросший черной бородищей до самых бровей. Выглядел он в компании молодых очерцев еще более белой вороной, чем Яков Свердлов. Петр Егорыч заметил, как парни его побаивались, а девушки во все глаза глядели на великана и цепенели перед ним, будто мышки перед котом. Настоящий разбойник, коим, в общем-то, и считала его вся Россия. Крутолобый – под стать своей тяжеловесной фамилии. Взгляд тяжелый, оценивающий, впрочем, привыкший после этой оценки к чванной снисходительности – мол, и ты, мил человек, слаб против меня в коленках...

«Этот над книжками не шибко глаза портит – другого полета птица. Ишь, как проворно сунул руку под полу», – ехидно фыркнул лесничий.

– Не шали, борода, пострашней видали твоей пукалки, – Петр Егорыч даже бровью не повел, когда в руке незнакомца оказался вороненый маузер. Браконьеры и порубщики не раз стреляли в него из-за деревьев убойными жаканами на кабана и лося, грозили топорами, замахивались дрекольем. Но Петр Егорыч с такой шантрапой справлялся на «раз-два».

Богатырь с неожиданной для его неуклюжей фигуры ловкостью вскочил и вразвалочку подошел к лесничему. Постояли они с минуту – лоб в лоб – как два медведя. Настолько близко, что бородами сплетались. Дышали друг на друга жарко – разве что не рычали. Оба – хозяева, которым тесно у этого костерка, в этом лесу да и во все мире божьем, пожалуй.

– Чистый Топтыгин ты, батя! Вот такие б у меня были – до последнего гада всех полицейских да стражников переломали бы, – первым сбросил груз повисшего в воздухе напряжения атаман Александр Лбов.

Да-да, это был он – непомерно уставший, загнанный в тупик, но несломленный демон революции, долго державший в страхе слуг самодержавия на всем рабочем Урале. Окольными путями Лбов добрался до Очера, чтобы прощупать местных мастеровых – может, кто и сгодился бы в его поредевшую боевую ватагу. Верных людей у него осталось – всего ничего: пескарь да ершок, свари ухи горшок... Лучшие погибли в боях или схвачены полицией, к дружине прибилося много авантюристов, а то и вовсе откровенных бандюг, и такую разномасть Лбов едва-едва удерживал хоть в жалком подобии дисциплины. И, казалось, уже не он управлял ватагой, а она им. Но после того как в поселке появилось подполье РСДРП, осуждавшее лбовскую партизанщину, очерские рабочие с прохладцей отнеслись к визиту атамана.

– Чаёк хлебаете, а товарищи мои под пулями жандармскими да казачьими пиками гинут. Все вам газетёшки да тары-бары, а как до драчки дойдет – по кустам да мамашиным подолам попрячетесь! – Лбов, не жалея самолюбия собравшихся, зло выплевывал гневные слова. – Пробрежали, просорочили революцию, боягузы...

– Ты бы, мил человек, поделикатней в чужом лесу-то себя вёл – тут у нас уремы глухоманные, грубияны часто пропадают! – рассердился Петр Егорыч.

– Ха-ха-ха, отец! Не впрягался бы за земляков – они люди взрослые! – рассмеялся атаман. – И не держи сердца на Сашку Лбова! Просто устал я ждать, пока вы, товарищи дорогие, языки из одного места вынете! Уремы у них, видите ли... Да в этих чащах уже давно отряды должны гулять, как у нас за Камой! Страх наводить на угнетателей, чтоб земля у них под пятками горела!

– Александр Михайлович, – не страшась, положила руку на плечо Лбова Елена Пищалкина. – Зачем вы нас обижаете зря?

– Да я не про тебя, Леночка, упаси Бог! С тобой, милая, да лесником этим матёрущим я хоть сейчас на баррикады! – суровый разбойник удивительно нежно прижался губами к ладони маленькой подпольщицы. – Я вон про тех архаровцев, что глаза от меня прячут. Стыдно, небось, братва?

– Не пришло их время еще, но, поверьте, когда придет – не дрогнут ребята, поведут себя правильно и других за собой увлекут, – убежденно промолвила Пищалкина, но Лбов в ответ лишь грустно улыбнулся. Он встал с пенька – прямой и гордый, выше всех на две головы, залихватски свистнул, из глубины леса ему отозвались зловещим филиньим уханьем – Петр Егорыч еще раньше по следам приметил, что в чаще атамана дожидались сотоварищи, охраняли его. Лбов, не прощаясь, пошел напрямик – леса он не боялся, для него он уже давно был домом родным. Шагал широко и смело, ухар-

ски напевая песенку, которую со времен Ермака наизусть знала вся отпетая прикамская вольница; шел, не выбирая дороги, шумно треща сучьями, под ноги не глядел. Честно и открыто, как делал всё в своей жизни — таким его и запомнил Петр Егорыч...

— И твое не пришло еще время, парень, — лесничий с нескрываемой жалостью покачал головой, проводив глазами последнего русского витязя, и горестно подумал: «Не жилец...»

А жить Александру Михайловичу Лбову и вправду оставалось всего ничего. В 1908 году герой, что поставил собственную жизнь ни во что, преданный провокаторами, будет схвачен и казнен в городе Нолинске. Волю его сломить никому не удастся, от покаяния и от исповеди Лбов презрительно откажется, прямо как тот самый революционер с известной картины Ильи Репина. Но еще долго народная молва будет слагать былины и легенды о своем горемычном заступнике...

Яков Свердлов буквально сразу после своего визита в Очер будет арестован и водворен в Пермскую губернскую тюрьму. Будущий председатель ВЦИК молодой Советской России, второй, после Ильича, лидер партии скоростижно скончается в 1919-м от простуды, которую начал зарабатывать еще в 1906-м — в стылых тюремных казематах Перми.

Погибнет в сибирской ссылке смелая «пигалица» Елена Андреевна Пищалкина. В новогоднюю ночь 1907 года доберется-таки, как и обещал, и до нее шустрый исправник. На суде молодая подпольщица будет вести себя не менее достойно, чем Александр Лбов, и найдет в себе силы крикнуть палачам: «Долой самодержавие! Да здравствует революция!»

Туда же, в Сибирь, сбежит от расправы Федор Прокопьевич Балахонов, первый очерский знаменосец, и в 1912 году

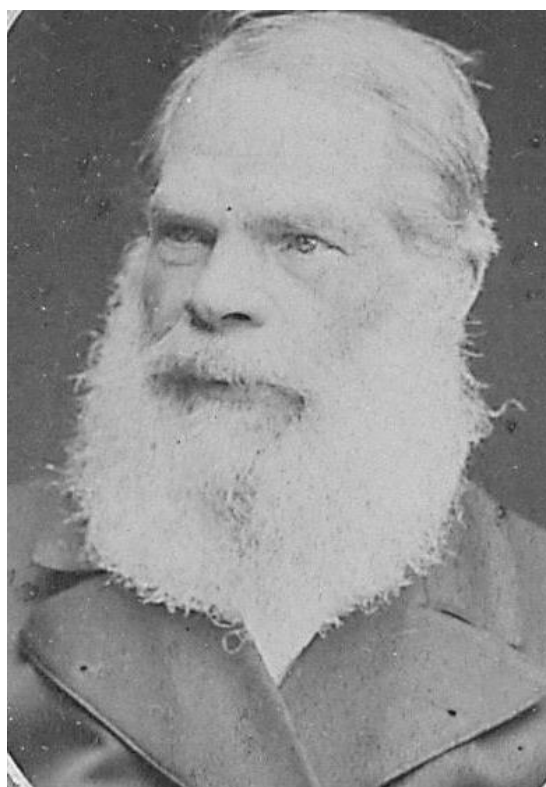
станет свидетелем Ленского расстрела – кровавой расправы царизма с рабочими золотых приисков.

Многие не дожили до победы над самодержавием, но их правое дело зазря не пропало. Права была Леночка Пищалкина: когда пришло время, большинство уцелевших в схватках с царизмом маёвщиков взяли в руки оружие, безжалостно смели догнивавшую свой век монархию и насмерть бились за власть Советов на фронтах Гражданской войны.

А Петр Егорыч и после Октябрьской революции служил лесничим до самой своей смерти. Он-то и сберег для очерцез живописный сосновый бор, знаменитый Барский лес, но, главное – крупницы воспоминаний о первых буревестниках светлого будущего...



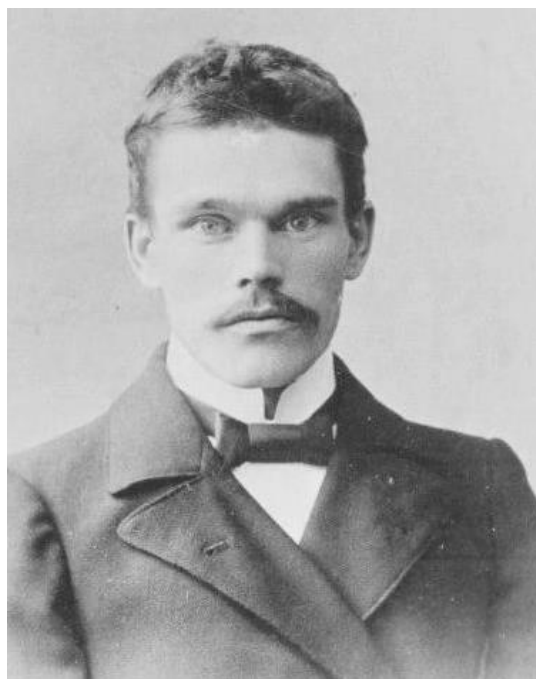
Тот самый «Медведь»-
лесничий Петр Егорович
Шардаков (1868–1938)



Михаил Яковлевич
Россомагин, окружной
лесничий



Н. М. Любимов, один из лидеров очерской ячейки РСДРП, инженер завода и актер народного театра



М. О. Загарских, провизор, член РСДРП, готовил печатную краску для первых очерских прокламаций



П. Ф. Чазов, писарь Очерского лесничества, член РСДРП



Революционерка Елена Андреевна Пищалкина (1884–1912)



Мотовилихинский рабочий
Александр Михайлович Лбов (1876–
1907), активный участник револю-
ции 1905-07 гг., герой повести А.
Гайдара «Жизнь ни во что»



Пламенный большевик Яков
Михайлович Свердлов
(1885–1919)



«Барский лес» — картина очерского художника О. Подлевских



Ф. З. Шилов («Апостол»), шорник
очерского завода, член РСДРП



Ф. П. Балахонов – первым поднял
над Очером красный флаг



Торговая улица в Очере, по которой прошла первая майская
демонстрация в 1905 г.

Ивану Петровичу Гурину

ИСАЙКИНО СЧАСТЬЕ

– Исайка, песий сын, да куда ж ты запропастился, ока-
янный? – неприятно сварливый голос, не сразу и разберешь
чей – бабий иль мужичий, зашумел на все Афоники. Даже
сомлевшие от июльской полудремы злющие дворовые кобе-
ли встрепенулись и, просунув оскаленные морды в подво-
ротни, зашлись истошным лаем.

Но Исайка и ухом не повел. Зажав меж колен щербатые
грабли, словно солдат винтовку на привале, парень вполглаза
подремывал, прислонившись к прохладной стене завозни¹.
Он сильно устал – ведь, почитай, с самого рассвета на ногах.
Хозяин, не дав Исайке ковша воды испить и даже морду опо-
лоснуть, вытолкал его взащей из сеней: дескать, иди робь –
отмантуливай должок...

– Вот ты где пригрелся, шарлыган! – крючковые
пальцы мертвой хваткой с прикрутом сцапали исайкино ухо,
так и не пожелавшее услышать грозный хозяйский голос.
Неодолимая сила унижительной боли подняла не успевшего
очухаться ото сна Исайку на ноги. – Всё бы ему ись, спать да
кочумать²! А назьмо³ кто убирать будет? Дух святой? Или,

¹ Завозня – здесь: пристроенное к амбару крытое помещение для
телег и саней.

² Кочумать – дремать, отдыхать, бездельничать.

³ Назьмо (назём) – смесь помёта домашних животных с соломой,
навоз.

может, я? – сорвался на поросячий визг хозяин, огромного роста пузатый мужик – а по голосу и не скажешь...

– Навязали дармоглота! Р-работничек! – брызнул тот слюной прямо на исайкины щеки и начал привычно разоряться. – Я вот вас ужо! Я вас научу, неслухов, волю хозяйску издаля чують! Запорю всех!

Ругань была едва не дословно знакома всему живому на большом кулацком дворе, поэтому, не вняв ничего нового, жизнь пошла обычным чередом: собаки, зажав промеж задних лап пыльные хвосты, попёрлись в конуры, кот на всякий случай забрался чуть повыше по стволу старой рябины, куры, выгнув полысевшие шеи, клювами тянули из-под прелых рогож дождевых червяков, а Исайка, сменив грабли на вилы, побрел убирать навоз...

– Потому-то и нищebroды вы, Наберушки-побирушки, лодыри поганые! – хозяин напоследок выплюнул в спину Исайке самую обидную обиду.

И ведь до слез обидно Исайке – никогда они, Наберухины, лодырями не славились, не христарадничали, и сейчас-то даже четверти часа не отдохнул, а вот на-ко, опять виноват. Не любит его хозяин, травит кажинный день почем зря, бдит, чтоб ни секунды без работы не сидел, чтоб гнул хребет без передыху и чтоб, не дай бог, не стащил чего из закровов. Да сроду Наберухины ничем чужим рук не марали!

Еще совсем недавно было у них не шибко завидное, но все же хозяйство. Лошадь – смирная, ласковая. Рыжуха... Отец привел ее на двор из самого Очёра – двадцать верст пешком, под уздцы. Не посмел верхом оседлать будущую кормилицу. Долго, с матюгами и хватаниями за грудки, торговался он с хитрым вотяком¹-прасолом². Тот с усмешкой затягивал сделку, глядя, как отец зажимал в дрожащих ладонях

¹ Вотяк – удмурт.

² Прасол (устар.) – торговец, оптовый скупщик.

шапку и все не решался бросить ее наземь, согласившись с ценой. И только вдосталь помурывив крестьянина, купчина смиловился, и они ударили по рукам. Счастью не было предела в большой Исайкиной семье: мать украдкой всплакнула, увидав как Исайка с сестренками тянули к лошадиной морде ручонки с посоленными хлебными горбушками, гладили Рыжуху по потному крупу...

Эх, пришлось свести ее в Афоничи, на двор к кулаку Щелкунову – за муку да посевное зерно, чтобы с голоду ребятишкам не помереть... Рыжуха и сейчас робит на щелкуновских полях. Но завидев своего бывшего владельца, даже ржануть не смеет – только робко косит на Исайку слезливым глазом и тихонько всхрапывает: не жалует Щелкунов подобных нежностей – еще огреет кнутом. Не любит кулак тех, кто на него батрачит и кого за это еще и кормить надо: ни лошадей, ни людей.

И коровенка пала... А за ней и маманя с младшей сестренкой – недород случился неожиданный, а оттого и губительный. Бабушка с дедом тоже быстро «сгорели», одного за другим снесли их на погост, потому что старики просто перестали есть – все старались внукам отдать, чтоб хоть малыши протянули сколько-то.

Вообще много чего пришлось тогда снести из бедной избенки, через год в ней было хоть шаром покати – даже пропить нечего... Осиротевший отец так и не вылез из нужды. Безземельный и безлошадный, батрачил на толстопузых богатеев за харчи да жалкие копейки.

– А-а-а! И-и-ыыы! – почти каждый вечер страшный протяжный стон разрывал голые стены опустевшей избы. Закусив зубами спутанную бороду, Исайкин отец добела сжимал кулаки над давно не скобленным столом. Тяжело сопя, он поворачивал голову то на печку, где, застыв от ужаса, замерли детишки, то на матовый от неубранных теней красный угол, откуда без всяких пристрастий и сочувствий, едва не

зевая от скуки, глядели на его горе святые угодники. И только ошметки старой, давно покинутой пауком паутины, качались от жара едва теплившейся лампадки: нужда есть нужда – даже паукам в бедняцком жилище нечем было поживиться...

– А-а-а! И-и-ыыы! О-а-аа! – вновь раздался стон, и самая маленькая сестренка Исайки не выдержала, задрожала прикушенными губками и вскоре заревела в голос.

Был бы во хмелю – не так жутко, малыши ничуть не боялись пьяного папку. Пошумит, покуражится и утихнет, пальцем никогда никого не тронет – хоть на шею ему садись да за волосья дергай. А тут-то ведь трезвый...

Дочкин плач приводил Исайкиного отца в чувство, он на мгновение зажимурился, тёр заскорузлой ладонью по глазам, словно пытался стряхнуть с него выражение тоски и горя. Но горе – не морозный узор на окошке, не пыль на полатах¹. Просто так не смоешь, не сотрешь... Это Исайка уже тогда понимал, садился рядом с отцом на лавку, невольно копируя его сгорбленную фигуру и вздыхал по-взрослому. Потому что Исайка и так был уже взрослый – в десять-то лет...

– Силушки нет, Исайка! Придется и тебе в наймыши иттить, – принял решение отец и наутро отвел его в Афоници, к кулаку Щелкунову, как когда-то Рыжуху...

Вечно всем недовольный, как дристливая корова, Щелкунов до полусмерти затуганил² в работе домашних – чего тут говорить о батраках. Похаживал по двору, словно тю-

¹ Полáти (*устар.*) – лежанка под потолком, устроенная между печью и стеной

² Тугáнить (*перм.*) – обижать, угнетать.

ремный стражник, гундел, указывал, чуть что – орал благим матом на работников.

Почитай с полсотни мужиков окрестных деревень да починков были у Щелкунова в долгах как в шелках, а когда их почти подчистую подмели на Империалистическую, эти самые растущие день ото дня долги-шелки приняли на свой хрип¹ бабы-солдатки. Тут-то кулак и вовсе остатки стыда по-растерял. Вспашет кому скромный наделишко, да потом половину урожая себе и зграбастает. Да и не сам и вспашет-то, а Исайка...

Ой, и жадён же был Щелкунов, жадён как жаба до мух. Ссужал в долг всякую завалящину, что даже кулацкие свиньи жрать не стали б, а взад требовал все доброе и свежее, да еще в три-пять раз больше! И не молча «доброту»-то свою проявлял, а с приговорками: честил-сволочил по-всякому берущего, а себя нахваливал, как бескорыстного благодетеля. А кто спорить смелился, тому всё руки свои вонькие совал под нос: гля-кося, дескать, трудом непосильным изнурены.

«Ага, как же... Да он тяжелее ендовы с брагой уж лет двадцать, поди, ничё не подымал! Сволочь!», – думал Исайка, разгребая навоз, и вилы ходуном ходили в его не по-детски натруженных руках. Не раз будто нечистый ему нашептывал: мол, парнище, вилы-те не в назём суй, а в брюхо своему хозяину-супостату. И до того явственно шептал, что Исайка зажимал уши руками, а потом долго крестился на все стороны света...

Исайка давно сбежал бы от Щелкунова, да боялся, что тот тогда вовсе отца замордует. «Вот бы в заводские поступить. Сказывают, есть заводы в Очёре да в Павловске. Вот где развеселое-то житьё – и рядом совсем. Не паши, не сей, оттрубил урок – и на гулянку девок шшупать! Картуз бы купил себе да бате. Сестренкам – пряников или чего-там еще

¹ Хрип (вятск.) – хребет, загривок.

имя надобно. Да живы ли, сестренки-те?», – мечты Исайкины были такие же простые и неказистые, как вся его беспросветная, серая с серым, жизнь.

Черный картуз с лакированным козырьком – предел его грёз, даже снился ночами чаще, чем мать-покойница. И что над ним смеяться – сроду не имел Исайка путной одежи, а у Щелкунова в наймышах и вовсе пооборвался. И в жар, и в мороз – на все сезоны одна шапчонка, похожая на растерзанную собаками кошку. Задрипанные штаны давно сопрели по швам, заплаты болтались на коленях, словно высунутые изо рта языки. Выцветшая рубашонка колом стояла от пота – соль с подмышек и вехоткой¹ не ототрешь. А обувь... Голые пятки в цыпках, каменно загрубевшие, хоть босиком по снегу летай – вот и вся Исайкина обутка! Даже лапти берег...

«Эх, в Очёр бы утечь! Отоспался бы там за всю жись», – зевнул Исайка, не зная, что Очёр он увидит уже совсем-совсем скоро. Вот только спать ему там опять не велят...

...Проезжал как-то через Афоницы по торговым делам богатый очёрский купец Вилесов. Остановился на передых у своего старого знакомого Щелкунова: знал, что у того всегда в заначке имеются запотевшая бутылка кумышки² да соленые кубышки на закусь – прямо из голбца³, на зубах хрустят и в брюхе тают.

Сели приятели в тенечке, под пышный сук рябины. Час-другой гуляют – бабы не успевают разносолы таскать. Вилесов пить-то пьет, стопку мимо рта не проносит, но глазками-

¹ Вехотка (*перм.*) – разновидность мочалки из ветоши.

² Кумышка – домашний алкогольный напиток, традиционный для удмуртов.

³ Голбец (*устар.*) – подполье, подвал в крестьянской избе.

бусинами туда-сюда мажет – чужое хозяйство всегда любопытно обозреть, может, что полезное и выглядишь...

И выглядел-таки, протобестия: Исайка носится по двору как угорелый – все успевает, за десятерых ворочает, сопلي некогда утереть. Завидно стало купцу: лучших его работников на войну с германцем забрали, нужник вычистить некому, а тут – молодой совсем да резвый. Чай, не обожрёт! И пристал как клещ Вилесов к кулаку: дескать, отдай мальчугана. Щелкунов засуетился было: дрянь, мол, работничек – неумеха и лоботряс. Неохота терять такого страдника в самую горячую пору, да как не уважить купца – обидится и перестанет лён да хлеб покупать. Тороват¹ был Щелкунов да тушист², но против Вилесова – щеклея, мелкий хозяйчик... Завернул он бороду в кулак, дерганул в сердцах и крикнул:

– Исайка! Положь-ка короба да подь сюды скоренько...

Исайка давно исподтишка косился на пьющих и отчаянно злился. Ну, хоть бы косточку объединенную подали со стола, мироеды, ан нет – как не видят. С вечера ничего не жрал парень, оттого бродило-урчало в его тощем пузе как в кадучке с квасом. Обрадовался Исайка, думал, совесть у них проснулась, и угостят все же чем-нибудь, потому резво подскочил к столу. «Боёк угланчик!» – Вилесов со скрытым удовольствием оглядел будущего работника. Щелкунов кашлянул:

– Хм-хм, ты вот что, малый – сбирай-ка манатки и езжай с Андреем Григорьевичем. Чудно, ей богу, но приглянулся ты ему чем-то, так что дале харчить тебя у меня нет расчета. Хватит – пожировал под моим крылышком. Да кланяйся, пентюх, теперь он твой благодетель!

Манатки... Какие там манатки! Чем богат – всё на нем! От Щелкунова Исайка хоть к чёрту в ад готов был сбежать в услужение. Он, разинув рот, стоял посреди двора и рассеянно наблюдал, как Щелкунов с Вилесовым степенно встали из-за

1 Торováтый (устар.) – здесь: расторопный, ловкий, проворный.

2 Ту́шистый (прост.) – полный, дородный.

стола – трезвёхоньки, словно и не выдули чуть не четверть 40-градусной кумышки. Почеломкались, поручкались – купец с ухмылкой, а кулак с нескрываемой досадой – и вышли за ворота.

А Исайке подумалось, что они словно баре крепостного заторговали. Еще в малолетстве он слышал от деда, что в старину граф Строганов продал того вместе с семейством соседу-помещику. И не продал даже, а выменял на что-то диковинное – то ли кость слоновью, то ли монету древнюю. Образованный был граф, на науку не скупился – душ-то у него много еще было. Но Исайка все равно не верил: как это живого человека да купить можно, словно пряник на сельской ярмарке. Даже снилось ему, как он с мамкой и тятей лежит на прилавке, а покупатели подходят, тянут к нему руки, обмеривают-общупывают и прицениваются: «А почём вот энтот гаврик? Взвесь-ка мне от него фунтиков десять! Да чтоб помягше, без костей, гляди!» Исайка в ужасе просыпался и, отдуваясь и крестясь, думал: «Не-е, оманул, видать, деда! Пужал просто. Не может быть такого».

А тут убедился, что нет – не обманул...

Исайка очнулся от голоса своего нового хозяина:

– Эй, пареван, оглох?! Как там тебя, Сысойко, что ль?

– Исайка, батюшко...

– Ну да один хрящ, по мне хоть – Савраска! – купец, пыхтя, забрался на телегу-пароконку и начал устраиваться поудобнее между мешками и суконными отрезами. – Ну-к берись за вожжи да правь в Очёр!

«В Очё-ёр! – не верил своим ушам Исайка. – Вот же вымечтал себе счастье-то!». Обернувшись, он виновато улыбнулся:

– Батюшко, Андрей Григорьич, а куды ехать-то? Я ж дороги не знаю.

– Не бывал в Очёре? Эх ты, деревня сиволапая! Вон до-рога-то! – указал тростью Вилесов, будто главнокомандующий шпагой.

Исайка радостно нукнул на лошадей, те резко дернулись, а купец, пытаясь удержать равновесие, схватился рукой за мешок с живыми поросятами-ососками. Многоголосый визг ужаса раздался над Афоницами – Вилесов едва с телеги не сверзился.

– Вот лешак! Так и паралик хватит! Не гони шибко-то, олух, а то товар растрясешь – вишь какой он у меня неспокойный...

Исайке судорогой рот до ушей расщерило – так хотелось в голос засмеяться, но не посмел он обидеть хозяина. Ему и без того было радостно и волнительно: позади оставались постылое батрачье прозябанье с вечной нищетой и голодухой. Вдаль уходила разъезженная дорога, блестящая пятнами не просыхающих луж. И не знал еще Исайка, что в Очёр-то она его точно приведет, а вот к искомому счастью – едва ли...

...На второй год войны на одоление супостата отслонявил Вилесов три «катеринки»¹ на нательные образки для солдатиков, пару лошадиных хомутов да сала сколько-то пудов, что залежалось в кленовских амбарах и уже изрядно пованивало.

Исайка помогал грузить дары в телегу и – наивная душа – решил предупредить хозяина:

¹ Катеринка (разг.) – сторублевый кредитный билет с изображением Екатерины II (до 1917 г.).

– Андрей Григорьич, отец родной, из куля-то тухлянкой дюже вонят. У тебя ж в Соснове доброе сало есть и убоина свежая...

Зыркнул Вилесов на Исайку – как шелопугой¹ огрел! И, склонившись в подобострастном полупоклоне, обратился к принимающему товар поручику:

– Хе-хе-хе, пустое треплет, дурак! Не извольте беспокоиться, ваше благородие, – и четвертую «катеринку», трубочкой свернутую, ему под обшлаг незаметно так – тырк...

А офицер нос перчаточкой прикрыл, пожал плечами и невозмутимо кивнул Исайке:

– Грузи-грузи, милейший!

Дескать, солдатня всё схарчит – не поморщится...

А вечером за гумном приказчики жестоко били Исайку – не один дрючок² изломали о его хребтину и сапожищами так отутюжили, что парнишке даже кричать было больно – только хрипел. Обработав, бросили на копёшку грязной соломой: «Молись, скотина, что до смерти не отволтузили!»

Но молитвы-то Исайка давно уж забыл, вылетели они из его башки от побоев да измывательств, и только шептал окровавленными губами:

– Боушко, милый! Спаси и помилуй! Пошто надо мной так изгибаются? Прибери меня как матушку, нет сил терпеть...

Свернувшись калачиком, как побитая собачонка, Исайка постепенно затихал, и чумазые дорожки от горьких слёз засыхали на его щеках. Редкие всхлипы плавно перетекали в мерное сопение.

И снилась Исайке родная деревенька с диковинным названием Большой Заурал.

Россыпь покосившихся избенок, крытых проволгллой соломой, что уныло глядели на мир маленькими окошками. Не-

¹ Шелопуга – хлыст, кнут.

² Дрючок (разг.) – толстая палка, жердь.

ровные шеренги изгородей щербились прорехами – длинные жердины издавна шли на дреколье для упившихся в праздники парней, что затевали драки с непрошенными гостями из такого же Заурала, только Малого – деревни, что раскинулась всего-то за полверсты от Заурала Большого.

Заросшие спорышем и мать-и-мачехой, в пыльном маре санные улочки, по которым под бдительным присмотром ревнивых многоженцев-петухов бродили куриные «гаремы». Пусто вокруг, безлюдно – только совсем уж древние старики досаживали на завалинках свои последние денечки.

А вдали – стена черного леса, куда детишкам ходу не было: леденящие кровь истории о том, как лешаки да бабайки утаскивали полоротых непослушников в самую урему¹ и ели их там живьем, каждый вечер баяли бабушки под перестук зубов своих внучат, забившихся, словно тараканы, в запечные ниши. Эту нечисть, конечно, и в глаза никто не видал, однако древний страх удерживал зауральское ребятье от дальних путешествий, и они отваживались залазить лишь в самосевные сосновые посадки, меж которых во мху прятались целые мосты боровых рыжиков, огневатые с просинью шляпки которых сочно хрустели под босыми пятками юных грибников.

Грезились Исайке земляничные поляны с куртинками дикой клубники – до того сладкущей и ароматной, что малые ребята, понабрав туески да лукошки ягоды, не всегда доносили их до дома полными. И только алые ободки вокруг губ выдавали тех, кто не устоял перед клубничным соблазном.

Дивными красками пестрела чересполосица долгих полей и лугов, испятнанных еловыми сколками, что щедро дарили спасительную прохладу страждущим в сенокосную пору.

¹ Урэма (урёма) (*тюрк.*) – густой лиственный лес.

Исайка часто вспоминал свой первый выезд на покос. Всего-то чуть больше годика было пацану, однако ж вот какая штука – память: по ей только ведомому промыслу выбирает самые светлые моменты, чтобы они в будущем стали для нас точкой опоры, прочным ориентиром на тернистой дороге к счастью...

Ранним утром, лишь чуть высветило небо, Исайка ехал на телеге, цепко держась за мамкину юбку. Вертел по сторонам головкой – все-то ему было занимательно, все-то радовало глаз.

Вот позади осталось крайнее подворье – и открылся такой простор, на котором умещалось в сто раз больше, чем мог постичь маленький Исайка.

Деревенское стадо мычало и блеяло под щелчки пастушьего кнута и бычьих хвостов, отбивавшихся от атак осатаневших паутов. Над долиной петлявшей меж лугов речки Сосновки, словно пар над постирушным корытом, седой густернёй завис туман-утренник. Полевая дорога постепенно сужалась по косоугору, и вот уже длинные травы начали хлестать по телеге и ветки придорожных кустов лезли в колеса, запутываясь в ступицах.

Разгонялся ветерок. Пушистые колосья овсяницы роняли капли холодной росы за борт телеги, и Исайка прятал мокрые ручонки под рубашку.

Вдруг обочь дороги, заполошно керкая, взлетела какая-то птица, напугав лошадь и еще больше того – самого Исайку.

– Приехали! Ну, с богом! – Тятка брал литовку, мамка – грабли с вытертыми до блеска деревянными зубцами. Они оставляли голопузого Исайку на травке в тенечке, совали в рот жёвку из хлебного мякиша в тряпице, повязывали голову, чтоб не напекло, и шли косить.

Солнышко робко пробивалось через шелестящую листву. Исайка игрался с жуками, кузнечиками, мямля пальчиками

пырейные стебли. Прятал в ладошках черных жуков-навозников, и впервые в жизни весело хохотал, когда те щекотали его уцепистыми лапками.

И так было ему радостно! Исайка удивленно взъёкивал и пускал пузыри, видя столько диковин сразу, чего в избе да на дворе не сыщешь, тащил в рот всяких козявок да муравьев. Но лесной муравей – та еще божья тварь, такого обращения не любит, извернется да укусит Исайку прямо за язык – и тот заревет на все поле. А мамка уже спешит к нему на помощь, на бегу распахивая рубаху. Сажает малыша на теплое колено, покачивает легонько.

«Исаюшко, золотко моё, проголодался», – мамка смахивала с распаренной от работы груди сенную труху, и малыш впивался ротиком-трубочкой в родной вишневый сосец. Вдали убаюкивающей мелодией лязгало по лезвию отцовской косы точило...

И вот нету больше мамки – не покормит никто, не заступится...

Три года был Исайка в работниках у купца Вилесова. Делал все то же самое, что и у Щелкунова, только в три раза больше. У Андрея Григорьича не то что поспать, просто присесть не досуг – враз в зубы получишь...

Исайка со временем понял, что жалеть себя – дело пустое, не приносит оно успокоения в душу. Нужно сопротивляться. Пусть даже молчком, упрямым терпением. Он научился пережевывать обиду и сплёвывать ее остатки на землю. Исайка и сам не заметил, как превратился в не по годам крепкого подростка с дубленой кожей, которая и защитила его неиспорченную душу.

Вилесов как истый барин содержал дворню, которую безжалостно шпынял. Приказчиков муштровал, кухарке и прачке проходу не давал, дьявол – нет-нет да и прижмет в чулане, до синяков защиплет.

Под навесом что-то чинил, лопоча по-своему, пленный австриец – нескладный, с добрыми коровьими глазами мужик, нипочем от русского не отличишь. Существо еще более бесправное, чем Исайка.

– Бусурманина сегодня не кормить! Нашим опять наклали – нехай и он помается! – злобно бросал Вилесов, прочитав в газете, что русская армия снова оставила какой-то город на западной границе.

Каждое утро перед воротами его дома толпились мужики в надежде на поденщину – завод-то работал с перебоями. Кадровые мастеровые, что одним напильником могли кольцо обручальное выпилить, чьи поделки самому императору на диво в Питер возили, теперь чистили вилесовские нужники. Но им купец частенько отказывал в работе – известным местом чуял затаенную угрозу и непокорность. Предпочитал совсем уж оборванцев, коих за людей не считал...

– Брось ты этого мироеда, Исайка! Спортит он тебя, как этих молодцов, – говорили парню мастеровые, указывая на лоснящихся от сытости приказчиков. – Эх, тебе бы к нам, на завод, там бы прошел настоящую выучку, да вот видишь какое дело...

Еще злючей хозяина были две его дочки-мегеры, испотаченные великовозрастные барышни. Обзывали, срамили Исайку за что ни попадя – за то, что беден, что ест неопрятно, что ногти не стрижены.

Но хуже нет, когда Вилесов прикладывался к бутылке: пару раз в году Андрей Григорьевич страдал двухнедельными запоями, а от него самого, как водится, страдали все вокруг. В такие-то моменты лучше перед ним не маячить, на глаза не попадаться. Дурил-чудачил с купеческим размахом,

допивался до зеленых чертей, до такого положения риз, что в штаны не раз наваливал. Позорился всяко: посреди ночи заводил на всю мощь граммофон и до посинения слушал Шалыпина, пытаюсь подпевать пьяным бляеньем. А то, не попадая в такт, закричит, заругается:

– Ай, Федька! Не знашь ты, бес, песен с картинками! Вон как надо! – Оторвет трубу от граммофона, ко рту приставит и давай матерные частушки на весь околоток орать. Потом вскакивал козелком и рвался за ворота в хмельном кураже: дескать, глянь, народишко православный, каков я есть. Но дочки с приказчиками на плечах у него висли – не пускали...

А с похмелья Вилесов – хуже сатаны. Не пройдет по двору, коту на хвост не наступив или цыплёнка неуклюжего не пиннув. Но первый виноватый – Исайка, конечно. То и дело огребал парень подзатыльник ни за что ни про что.

...Третий день гулял Вилесов. Выволок кресло на середину двора и, вальяжно развалясь, сидел – бабьи ляжки вразброс. Рядом вместо столика по стойке смирно, как чучело медведя в трактире, стоял халдей-приказчик с расписным подносом, на котором высились «полсобаки»¹ казёнки² и горюшка моченой капусты с брусникой. Вилесов с удовольствием опрокидывал граненую «николаевскую» стопку, горстью черпал капусту и затыкал ею рот, чавкал, со свистом выдыхая перегар. Пьяным прищуром оглядывал подворье, какой бы еще мерзостью позабавиться и, увидав Исайку, шедшего со двора с ведрами, позвал:

¹ Собакой или собачкой первоначально называли бутылку коньяка с собакой на этикетке, а затем и любую пол-литровую бутылку с крепким алкоголем.

² Казёнка – хлебная водка, продажа которой в Российском государстве до 1917 г. составляла монополию государства; казённая водка.

– Иса-айка, а ну-кошь подь сюды – целковый дам!

Исайка наизусть знал все его шуточки. Кинет Вилесов монету в грязную жижу, истоптанную свиньями да курами загаженную, и велит достать. А для Исайки рубль – деньжищи невиданные. Сунет он руку прямо в месиво, пошарит ладонью и вынет денежку. Да только не рубль, а пять копеек...

– А ты в рот возьми, обслюни да оближи – глядишь, и рублем обернется пятачок-от! – гогочет Вилесов. – Такому голодранцу и пятак – рупь! Да не стрели, не стрели шарами-те! – купец пьяно замахивался на Исайку и, пытаясь при-встать, снова бессильно плюхался в мяготь кресла...

Пакостный был мужичишка, однако ж в церкву ходил по расписанию, будто в контору, где бог у него был что-то вроде строгого, но не шибко умного начальства, которого надо умаслить и очки втереть.

На престольный праздник веселым переливом зазвенели колокола. Золоченый крест храма Михаила-Архангела сиял на фоне мутного, как помой, осеннего неба. Вилесов с дочерьми под ручки прошествовал на молебен. Работники да приказчики почтительно трусили позади. Важно выставив пузо, не отвечая на поклоны верующих, подходил Андрей Григорьевич к Очёрскому храму и размашисто напоказ крестился, будто Емелька Пугачев на Лобном месте.

На паперти купчина милостынькой не разорялся, отмечая тянущиеся руки нищих длинной полкой богатой сибирки. Повел уничижительным взглядом на убогих да калик переходящих, брезгливо скривил рот под сивой бородой:

– Ужо вам копеечку! На позиции бы вас, смердюков, под германские пулеметы!

В углу под чугунной лестницей вдруг зашевелился серый комок. На свет божий выполз увечный солдатик – сам грязнее грязи, кривой на один глаз, без обеих ног, на взды-

мавшейся от гнева груди тускнела жалкая георгиевская медалька. Шипя пеной у рта, нищий грозил Вилесову кулачишком, будто поп анафемой:

– Пададь ты, купец! Не оторвало б мне ходули под Перемышлем, дотянулся бы до твоей бороды и выдрал всю. Вместе с башкой желательно... Это таких как ты, мерзавцев бессовестных, на пулеметы-то надо! Вот только не видывал я что-то таких ероев на позициях – простой люд за такую нечисть головы кладет, тьфу... Для вас же война – манна небесная. Ты, Вилесов, на людском горе харю отъел: цены в лавках взвысил до небес, тебе что, сало да хлебушек из Германии возят или из туретчины? Наши же мужики тебе по божеским ценам сдают, а ты накручиваешь, бесстыжий. Копежки он пожалел... Погоди-и, сатана! Подавишься ты еще нашими копеечками, найдется и на тебя шворка¹ либо пуля!

Вилесов по-рачьи выпучил глаза и захватал ртом воздух:

– А-а, мне-е грозить? Да ведь это социалист, да еще и жид, похоже! Лупи его, православные!

Кинулись было вилесовские подсевалы намять бока инвалиду, да заслонил Исайка – в силу вошел парень, и страху перед хозяином заметно поубавилось. Семнадцатый год пошел – не шутка. Набычился, губы в щелку сжал – не замай! А тут еще парни знакомые подоспели, плечо к плечу с Исайкой встали. Хлопцы хватские – с заречной стороны, такая же голь беспросветная, молодая мастеровщина очёрская. Улыбки не добрые, картузы заломлены, шелухой семечной на сапоги перетрусившим приказчикам плюют и в грудки их подталкивают:

– Что почём? Сбрызнули отсель! Только троньте, подгузники вилесовские, прямо тут положим – не горе, что боженька увидит!

¹ Швóрка (разг.) – веревка, бечевка, шнурок.

Да, такие и бога не боятся и черту рога завернут на са-
лазки...

Ничего не сказал Вилесов, но вечером приказал Исайке:

– Выметайся со двора, пачкун! Как смел, паршивец, страмить меня перед обществом? Видано ли дело! Моли бога, что отходчив я, а то б закатал тебя, куда Макар телят не гонял. Меня сам господин исправник уважает, и мировой по отчеству величает!

– Расчетные, так понимаю, не выдашь, – усмехнулся Исайка.

– Да ты сам мне должен, па-ра-зит! Поил-кормил змеюгу такую...

– Ничего, сочтемся еще, Андрей Григорьич. Беднее я уже не стану – некуда. Но и ты счастливее от моих денег не будешь. Как бы тебе не прогадать, купец – настанет и твой черед, приду к тебе за должком...

Не знал Исайка, но нутром-то чувствовал, что уже скоро предъявят всем вилесовым да щелкуновым, господам исправникам да мировым такие счета, по которым тем уже не хватит мошны расплатиться.

– Тум-тум-тум! Бух-бух-бух-бух-бух! Тух-тух! – громкий постук резко оборвал предрассветную тишину очёрских улочек.

Кованные ворота дрожали на петлях, железный лязг дверной ручки вязнул в сонном воздухе теплой ночи. Разбуженные прежде времени петухи перекликались хриплым кукареканьем. Старые дворовые кабыздохи робко им подтягивали, сторожко прислушиваясь к незнакомому грохоту – уж больно опасному для их собачьих шкур, чтобы залаять во весь голос. Кое-где в окнах домов сквозь тусклый свет мер-

цающих ламп замелькали лица потревоженных обывателей, оглядывающих улицу.

– Бах-бах-бах! – Кто-то настойчиво стремился в гости – шумные, заполошные, непрошенные...

– Открывай! Эй, хозяева? Рано почивать устроились! Отпирай, кому говорю!

– Ой, да кто там дубасит? Пошто ворота ломаешь? Кобея спушшу!

– Я тебе спушшу! Портки! И телешом на улицу выгоню! Именем Советской власти – открыва-ай!

– Да сичас-сичас, оглашенный! Только лопотишку накину да свечу запалю! Не греми уж, ради Христа, и так всех вокруг спужал!

– Да я еще и не начал пужать! Вот стрельну щас!

– Да бегу-бегу, не лютуй! Ох, кончился наш покой...

Вот так же требовательно, громко, с оружием и красным знаменем в руках постучалась в старый Очёр Советская власть. И попробуй такой силище не отворить ворота!

Исайка стучался в знакомые ворота, в дом купца Вилесова, на которого отбатрачил четыре долгих года. Выгнанный взащей, вроде совсем недавно уматывал он отсюда босяк босяком, а теперь входил вольно, гордо – уже хозяином...

– Ого, ну и гостёк пожаловал! Исайка, ты что ли? – просунул бороду в дверной проём Вилесов.

– Кому Исайка, а кому – Исай Моисеевич! Доброго здоровьяца, Андрей Григорыч! – Исайка протянул Вилесову потертую на сгибах бумагу.

«Податель сего Наберухин Исай Моисеевич является преданным революции красным гвардейцем и т.д., и т.п.». За сим, как полагается, следовали витиеватая роспись уездного военкома и круглая печать со звездой и скрещенными орудиями.

ями труда, не вызывающие сомнений в важности полномочий предъявителя.

– Без очков не разгляжу никак, – прищурился Вилесов, на вытянутую руку отодвинув от лица Исайкин мандат. – Ишь ты, мать честная, верно – Моисеевич! Гвардеец... Может, еще и благородием тебя величать? Дожили, царица небесная, прости господи...

Увидев, что бывший хозяин не проникся уважением к документу, кой-где извазганному пятнышками ружейного масла и просвечивавшему нечаянными надорвышами, Исайка вручил ему вторую бумагу – побелее и почище, которая за подписью председателя Чрезвычайной Комиссии обязывала бывшего купца Вилесова предоставить Исайке квартиру, стол и фураж..

– Вот еще! Какой, к лешакам, фураж? – взбеленился Вилесов. – Где же коняка-то твоя? Или вы, коммунисты, теперь сами сено жрёте, коль поразорили весь честной народ?

Исайка промолчал, но взгляд его не сулил ничего хорошего. Да и буквы «ЧК» поохладили пыл купца: с этой организацией он уже имел дела, но больше как-то не стремился. Хватит, покормил клопов в узилище...

– Ладно, живи покамест! Но на обильный стол не тщись, потому как обедняли в прах по вашей милости. Все подчистую подмели, такое хозяйство обнищили, скорохваты, – проворчал Вилесов. – Спать-то в сенках, по старой памяти, постелить, хе-хе? Или ты теперя ежели Моисеич – дак меня с законной кровати сселишь или, не дай бог, к дочкам приляжешь? Выкуси, лиходей! Для меня ты все одно как был и есть – Исайка, песий сын и баламут, и бумажонки энти мне в шары не тычь. Своим красным гвардейцам обратно отнеси – на раскурку. Указывать мне ишо будут, подзаборники – фура-аж имя подавай!

– Ты не уроси¹, Андрей Григорьевич, все одно не пожалею! Мне твоя постеля без надобности – брезгую, и за дочерей можешь быть спокоен – не про наших женихов невестушки. А кормил ты нашего брата-батрака и раньше не чем бог послал, а тем, что после поросюков оставалось. Так что не объем твои богатства, – усмехнулся Исайка и вдруг нахмурился. – И бумаги мои ты зря пастью своей поганой стервишь. Мне их народная власть выдала. По этим бумагам, ежели не исполнишь, что в них велено, имею полное право шлепнуть тебя прямо здесь без лишнего базла. Аль не веришь? – и Исайка начал снимать с плеча винтовку.

Вилесов однажды уже видал его таким – пару лет назад, у Очерской церкви, когда Исайка заступился за инвалида: коренастый, весь из себя густоплотный; широколобая голова чуть наклонена вперед, глаза захмурены лохмотками бровей, толстые губы упрямо сжаты полумесяцем вниз, желваки, часто подрагивая, морщинят суровыми складками щеки, а из ноздрей со свистом, как из чайника, угрожающе пышет нетерпеливым парком – ну чистый бычок-откормыш. А теперь еще и с винтовкой! Поди возьми такого за рубль двадцать...

– Но-но, шуткую я, Исаюшко! Что ты, что ты – мы ж родня почти с тобой! Убери ружье, милый сын, и проходи в горницу, – пошел на попятную Вилесов.

Гоношист² был купец, да не кремнист³: робел и в комок съёживался перед мало-мальской силой. Но злобу таил долго, прятал ее глубоко в нутро, лишь изредка, словно из переполненного ведра, побрызгивая желчью в сладостном предвкушении скорой мести. «Ну, погоди еще, щеня мокропупая! Твоя власть покуда, но надолго ли... Кровью омоешь нынешнюю обиду мою», – как ни хотелось Вилесову эти слова

¹ Уросить (*перм.*) – здесь: капризничать, жаловаться.

² От «гоношиться» – хлопотать, суетиться.

³ Кремнистый (*перен.*) – непреклонный, твердый.

прямо в лицо Исайке рывкнуть, но духу хватило только на подумать.

Хотя в мыслях своих дерзких Вилесов ничуть не голо-словил. Месяц назад к нему на постой попросились два крас-ных командира из расквартированного в Очёре 10-го инже-нерного батальона. Хотя в красное-то они совсем-совсем не-давно перекрасились – оба были бывшие офицеры, ярые мо-нархисты-черносотенцы. Убиенного царя-батюшку, конечно, почитали, жалели его, однако больше тужили да причитали по своим утраченным капиталам. Один паровые мельницы содержал, второй – крупную торговлю имел, как и Вилесов. Однако революция отняла у них все это богатство, да еще и заставила послужить себе, мобилизовав в Красную Армию. Но служили они не за совесть, а за страх перед новой вла-стью и за тайную надежду, что эта самая, не от бога, власть пришла ненадолго: пошалит, побузит и рассосётся, как в 1905-м.

Инженерный батальон был силой не шибко-то надеж-ной: собирали его наспех и с бору по сосенке, поэтому созна-тельных, преданных революции бойцов там почти не оказа-лось. Рабочих и крестьян-бедняков – едва ли с четверть, ком-мунистов – вообще кот наплакал: почти все большевики ушли на фронт сражаться с Колчаком... Так что попали туда, да и то не своей охотой, разные кулацкие сынки, бывшие ла-вочники да приказчики, трактирные половые и кучера-извозчики. Среди рядовых было много не успевшего сбежать на Дон или к атаману Дутову офицера, что скрыло свое со-циальное происхождение. Однако можно на время позабыть барские захмычки, снять золотые погоны, сменить фуражку на солдатскую папаху, сбрить щегольские усики и зарости простонародной бородой, но личину-то не утаишь: прознав про успешное колчаковское наступление, все они готовились встретить верховного правителя хлебом-солью. И не просто так, а – хозяевами, при полном параде! Для этого было нужно

всего ничего – скovyрнуть ослабленные Советы, перебить ненавистных коммуняк, а сочувствующих рассадить по ку-тузкам, себя тем самым реабилитировав перед суровым ад-миралом за службу в Красной Армии, пусть и вынужденную. А то ведь дело известное: колчаковская контрразведка не больно любит разбираться в психологических тонкостях, нравственных муках и правах личности. Просто к стенке по-ставят или, честь твою офицерскую похерив, выпорют при-людно, как крестьянина-недоимщика – и вся недолга...

Поэтому в Очёре уже давно тлел заговор, центром кото-рого, что ни сколь не удивительно, оказался вилесовский дом. Вот почему купец так рьяно противился такому неудоб-ному квартиранту как Исайка. Однако офицеры будто и не замечали молодого красногвардейца и конспирацию не особо блюли: дескать, телепень¹ нескладный, молокосос – разве та-кой допрёт до шпионских штук... Не стесняясь Исайки, они вслух вспоминали старое время и дразнили того усмеш-ливыми намёками, что скоро, мол, оно возвернется в Очёр. Вилесов вновь задрал нос и гоголем похаживал по двору.

– Всем ли довольны, свет Исай Моисеич? Не прикажете ли самоварчик? – ёрничал купец, посмеиваясь в бороду. – Жаль, что съедете скоро от меня, ой, как жаль! Может, сальца фунтик одолжить – пятки смазывать?

Исайку это пустобрёхство ничуть не занимало – у него своих забот полно было. Малочисленный красногвардейский отряд поддерживал порядок в поселке, вместе с чекистами гонял по уезду кулацкие банды, шерстил жуликов и спеку-лянтов, помогал комбедовцам устанавливать Советскую власть в деревнях. Исайка еще и учиться успевал, наверсты-вая упущенное из-за батрачества. Приходилось ему разъяс-нять простому люду, за что сражаются большевики. По своей молодости он и сам еще плохо разбирался в политграмоте, но

¹ Тёлепень – язык колокола, в переносном значении – безволь-ный, вялый человек.

душой и сердцем чуял, что выбрал самую верную дорогу на свете, пусть пока и трудную...

Агитатор из Исайки был и верно, как говорится, так себе. Однажды на сходе мужики спросили его: дескать, а кто такой Ленин и правда ли, что он германский шпиик? Исайка возмущенно набычился, достал из кармана газету, развернул и крикнул:

– Да вы что, опупели, граждане? Это же наш вождь! – а сам на портрет кажет.

– Во-ождь? А где ж у него перья? – вглядываясь в газету, сбалагурил какой-то не в меру начитанный мужичишка, едва не поплатившись за неосторожную шутку головой.

Положение спас Исайкин командир, рабочий-большевик Павел Тиунов, который, оттеснив парня, рассказал селянам о Ленине и доходчиво разъяснил им суть происходящего в Советской России...

Так что Исайка ног не чуял от усталости и, наскоро поев, забывался в коротком молодом сне. О пугающей серьезности разговоров в вилесовском доме он задумался лишь тогда, когда краем уха слышал спор, который троица вела о каких-то списках, сигналах и паролях.

А однажды Исайка спросонок увидел, как из подъехавшей ночью подводы какие-то люди сгрузили длинные ящики и унесли в амбар. А путь им семилинейной лампой¹ освещал сам Вилесов. Утром Исайка заглянул туда и обнаружил около трех десятков винтовок, несколько наганов и россыпь ручных бомб. «Если все это принадлежит батальону, так зачем же прятать, тем более у Вилесова – классового врага?» – удивился парень и поделился своими подозрениями с товарищами по отряду Колей Бояршиновым, Петей Зелениным и Васей Бурдиным. Вместе пошли они к военному комиссару Василию Кондакову и рассказали всё, как есть.

¹ Семилинейная лампа – керосиновая лампа с фитилем шириной в семь линий (около 18 мм).

– Так-так-так, бойцы-молодцы! То-то брательник мой младший Сашка талдычил, что видел какие-то сигналы на Кукуе, – встрепнулся Василий Сидорович. – Они с ребятами на речке пышкарили¹ и увидали, как на горе костёр мерцает, словно сигнальный фонарь на корабле. А со стороны пожарной части кто-то в ответ фонариком замаячил! Залез Сашка на Кукуйскую гору и кострище свежее нашел – шаяло² еще, говорит. А рядом – рогожка! А я ему: не дури, дескать, Пинкертон, не мешай работать. А теперь-то допёр, что какая-то вражина этой рогожкой костер загораживала и сигнал световой морзянкой подавала. И куда – около пожарки-то артбатарея наша! Все сходится! Спасибо, ребятки, за чекистскую бдительность! Я давно чую, что в поселке контра голову поднимает, особенно в инженерном батальоне – доходят сведения. Мы их на догляде держим: всё-то они кучкуются, нюхаются, будто собаки на гульбе, шепчутся, обывателей мутят. Бунт затевают, а время сейчас тяжелое, это ж нож в спину революции! Жаль вот только сил маловато у нас, чтобы эту заразу разом прихлопнуть, как мух на коровьей лепешке. Буду звонить в Оханск! Только, слышите, парни, вы – люди взрослые, понимать обязаны: о нашем разговоре – ни-ко-му!

Из Оханска спешно прибыл особый отряд во главе с губернским военкомом Степаном Окуловым. Всю верхушку заговора похватали быстро и без лишнего шума – по спискам. Одних взяли по домам – прямо в исподнем, спящих. Других арестовали на службе, обезоружили, не дав опомниться. Оказалось, успели вовремя: еще день-два задержки – и почти весь батальон, одурманенный бывшими офицерами, поднял бы восстание, потопил бы пол-Очёра в крови и переметнулся к белым. Вилесов шел с обедни, когда его под белы рученьки сцапали чекисты.

¹ Пышкарить (*перм.*) – жечь костер и печь на нем картошку.

² Шаять (*перм.*) – тлеть, дымиться без огня.

– За что? По какому праву? – пытался сопротивляться купец, но затих, когда его провели перед строем арестованных офицеров, среди которых, понуро опустив головы, переминались с ног на ноги два его постояльца. Налитые кровью, полные змеиной ненависти глаза прожгли Исайку, когда Вилесов прошел мимо него. Окулов заметил переглядку матерого мужика и молодого парнишки в потрепанном тулупчике с красногвардейским бантом на груди.

– Молодец, парень! – Степан Акимович похлопал Исайку по плечу. – Самое паучье гнездо разорил. Но это еще не последняя контра – держи ухо востро! А этот отгадил своё...

Батальон переформировали и, назначив комиссаром Павла Тиунова, отправили под Петроград. Арестованных Окулов приказал отправить на станцию Верецагино, а самых отъявленных мятежников, в том числе и Вилесова, забрал с собой в Оханск. Нити заговора расползлись по всему уезду, где у купца было много приспешников из числа богатеев. Но короткий залп под суровую команду «По врагам революции – пли!» у магазинных амбаров в селе Таборы навсегда оборвал эти нити...

– Жалование мне не выплатят никак – что ж вы за власть такая бестолковая?! Ваших же оборванцев уму-разуму учу! Им, неумытым, коровам под хвостами подмывать, а не в школе полы топтать! У-у, постылые...

Старшая дочь Вилесова Анна терпеть не могла Исайку, обвиняя его в смерти отца. Она учительствовала в сельских школах – кое-как да понемногу, не могла дольше месяца держаться на одном месте из-за неуживчивого нрава: не любила она детей, а те отвечали Анне полной взаимностью. Ко-

гда Вилесова расстреляли, она хозяйкой вернулась в дом вместе с младшей сестрой.

– Эх ты, Анна, сама вроде детишков учишь, а словами непотребными как шмара трактирная плюешься, – повзрослому попенял ей Исайка. – Не нужны нам такие учителя! Мы для наших детей своих выучим.

Исайка вспомнил, как давно-давно собирался в Куминскую школу. Мамка две ночи выкраивала ему нарядную рубашку – прямо из своей, единственной, на которой пятнышки от молока еще не обсохли – она кормила в то время младшую сестренку... Положили ему в холстинный мешочек половинку луковицы, яичко печеное да кусок хлеба. Ни жив ни мертв сидел Исайка рядом с такими же плохонько одетыми ребятами, которых несчастные родители с горем пополам собрали, отмыли им с щек чумазины, одинаково постригли под горшок. Казалось, что все они из одной большой семьи. Большой и бедной, как вся крестьянская Россия...

Престарелый батюшка, что обучал Закону Божьему, оглядывая эту беспортошную школоту, ронял слёзы на бороду. Жалеючи учеников, он каждый раз приносил им что-нибудь поесть – каши горшок или миску с губницей¹, и, скорбно качая головой, слушал, как дробно стукотали деревянные ложки, а за ушами пищало так, что... Какой уж там Закон Божий...

Проучился Исайка всего-то несколько суббот, да так и не понял, зачем вообще в школу ходил. У Вилесова в наймышах ему за книжками сидеть было некогда, поэтому, когда Исайка великовозрастным неучем поступил в Красную гвардию, то и расписываться не умел. Правда, вместо подписи не крестик ставил, а звездочку. Но в отряде не все такие были: образованных-то за революцию сражалось ничуть не меньше,

¹ Губница (устар.) – крестьянская похлебка из грибов, лука и картофеля.

чем за буржуев. Они-то и натаскивали безграмотных бойцов в порядке общественной нагрузки.

От рождения смышленный, Исайка понял, что читать да писать — наука не такая и трудная, и очень жалел, что не старался постичь «азы» да «буки» раньше. К тому же читать-то он учился по другой — близкой ему, родной, советской — азбуке, где «М» — мир, «Р» — революция, «С» — свобода. А это вам не какие-нибудь «како» или «рцы»! Поэтому, на радость своим учителям — товарищам-односумам — Исайка схватывал уроки на лету, и уже скоро вместо звездочки коряво, но грамотно выводил: «На-бе-ру-хин». И мог сосчитать, сколько патронов в обойме его винтовки. Читая лозунги и листовки, Исайка был уже почти счастлив, однако его друг Саша Шардаков говорил:

— Трудовому человеку и другие науки знать надо: как от буржуев проклятых землю очистить, как жизнь в советской стране наладить и другим народам помочь в этом, как Родину свою защищать до последнего вздоха. Заводы строить, машины конструировать, аэропланы... Не для богатеев, а для счастья всех людей! Дело это нелегкое, и делать его нам с тобой, Исайка — больше некому!

Исайка мечтал, как поедет учиться в Пермь, а то и в самую Москву, представлял себя за учеными книжками и чертежами, за рулем какой-нибудь невиданной машины, за станком гигантского, построенного своими руками, завода. Но чаще всего видел он себя с острой пашкой, в командирской кожанке, верхом на коне — на полном скаку! Ведь своих врагов побить мало — нужно и другим беднякам помочь...

— Вы истребляете лучших людей России, а сами ногтей их не стоите! Пропадете все — туда вам и дорога! Отняли наше счастье — своего вам не видать! — Исайкины мечты прервались руганью младшей дочери Вилесова Лидии.

— Это твой-то батя — лучший? Кровопивец он и мироед был! Пил да жрал, воздух портил, над обездоленными измы-

вался. Что он людям-то оставил хорошего? – беззлобно огрызнулся Исайка.

– Да как ты смеешь неуч, бездарь голодраный, в моем же доме поучать меня да тятеньку-покойника грязью обливать? Прочь пошел, босяк, холоп! Во-он! – забилась в истерике Лидия, падая на руки старшей сестры.

Исайка плюнул и вышел на двор. Но вечером, когда ложился спать, улёгся прямо на рассыпанные по тюфяку швейные иголки. Жили сёстры Вилесовы мелко, и месть их была такой же...

– Да холера с вами – шипите-шипите, сколь влезет! Не воевать же с такими лахудрами, – усмехнулся Исайка. – А насчет счастья нашего – не каркайте! Вот уж дудки! Ваше счастье липовое, вам его с мёдом на блюдечке подавай – даром, за чужой счет! За ваше счастье бедный люд столько горя принял, что вам и не вынести... А мы за свое бороться будем! И, будьте покойны, добудем вам назло! Наше счастье – общее, даже таким как вы от него чего-нибудь перепадет – нам не жалко. Потому и настоящее оно, наше счастье, справедливое...

– Что, друг, уяснил, что такое классовая борьба, – засмеялся Саша Шардаков, когда Исайка показал ему тюфяк, больше похожий на ежа. – Дай бог, чтоб вся контра только на это и отваживалась! Но, боюсь, понавтыкают нам еще чего-нибудь почище иголок. Колчак уже рядом – Очёр придется оставить...

– Вернемся! – уверенно ответил Исайка. – Обязательно вернёмся, Саша!

10 марта 1919 года Исай Наберухин, 18-летний коммунист, красноармеец 30-й дивизии товарища Блюхера, скупно отстреливаясь, с последней подводой покидал Очёр, в который с нескольких сторон уже входили полки колчаковского генерала Пепеляева. Сворачивая на спешковскую дорогу, он еще раз обернулся, чтобы окинуть взглядом окутанный дымом печных труб заводской посёлок, куда Исайка, сдержав обещание, вернется через тридцать пять лет – уже не Исайкой, а генералом Советской Армии Наберухиным, героем двух войн, настоящим победителем, а потому и вполне-вполне счастливым...



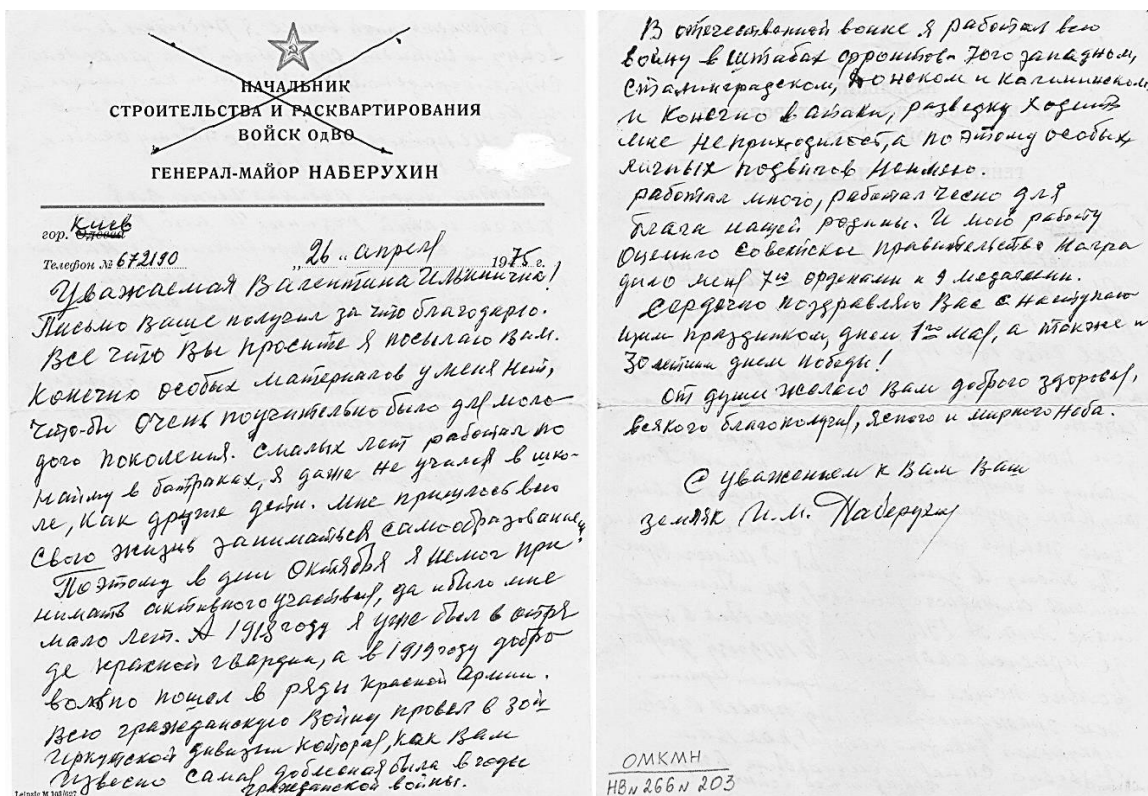
Генерал Исай Моисеевич
Наберухин



Полковник Наберухин во
время Сталинградской битвы,
1942 год



И. М. Наберухин на фронте, 1943 г.



Письмо И. М. Наберухина В. И. Тиуновой в Очер



Братья Кондаковы. Второй слева – Александр, который обнаружил сигналы заговорщиков из 10-го инженерного батальона на Кокуе. Участник Великой Отечественной войны, кадровый офицер Советской Армии. Первый справа – Василий, Очерский военком в 1918 году, до революции – фотограф.



Герой Гражданской войны,
пермский губвоенком
Степан Акимович Окулов
(фото из архива
В. Дегтярникова)



Павел Иванович Тиунов – ко-
мандир красногвардейского
отряда, советский партийный
работник



Памятник на могиле товари-
щей И. М. Наберухина по
красногвардейскому отряду
Павла Соромотина и Петра Зе-
ленина, зверски убитых колча-
ковцами в марте 1919 г.
(старое кладбище г. Очера)

СИЛА ПРАВДЫ

— Где тут Дворецкое, отец? — всадник, молодой невысокий крепыш, остановил коня перед стариком, что вел под уздцы тощую лошадёнку, запряженную в старую кошёвку¹.

— Дворец-от? А во-он тамо-ка, — возница грязной шубенкой неопределенно указал на лесной массив. — Шпарь, паря, по большаку до Косы, а там Песьяна недалече, а уж отшель и вовсе рукой подать. Не промахнёшша! Слышал, орудия бьют? Сейчас малость, буди, притихло... Но влево, послушь-ка, шибко не сувайся — там колчаков тьма тьмою. Газом стреляют, сволоты, как в Ерманскую. Вишь, какое дело-то, — старик горестно кивнул бородой на двух красноармейцев, что со страшными позеленевшими лицами корчились в судорогах на дне кошёвки. — Так что правее держи, вьюноша!

Но всадник его уже не слышал, и лишь рыхлый снег весело взвихрился под копытами его коня...

Бойца прославленного полка «Красных Орлов» Филиппа Голикова отправили в Питер на курсы политагитаторов, однако поезд остановился на безымянном разъезде недалеко от Кукет, и Филипп услышал, как к югу от железнодорожного полотна гремела орудийная канонада — в нескольких верстах шел сильный бой. Части 29-й и 30-й дивизий Красной Армии отбивали у белых важный опорный пункт на пути к Очёрскому и Павловскому заводам — село Дворецкое. Голиков отпросился у комиссара полка Павла Мамонтовича Тарских отвезти на передовую свежие газеты и проститься перед долгой разлукой с боевыми товарищами из 1-го и 2-го Красноуфимских полков.

¹ Кошёвка (кошева) — двухместные сани.

– Без тебя там, конечно, не управятся, – проворчал Тарских, но Голикова отпустил: – На все про все сутки тебе, Филипп! Больше дать не в силах. Догонишь нас в Верещагино. Добирайся на чём хочешь – хоть на козе верхом, хоть на своих двоих. А в пекло полезешь – сниму вот этот самый ремень и выпорю. Я тебе тут, в армии, считай, что второй отец – гляди у меня! Ну – бузуй!

Голиков навьючил на коня пачки с газетами, по случаю мороза надел поверх длинной кавалеристской шинели нагольный полушубок и торопливо поскакал по зимнику на шум далёкой стрельбы...

...Мороз взъярился не на шутку: утром было минус 35, и с каждым часом холодало пуще и пуще. Крещенский, как никак, морозец-то – только щеки да уши три! К тому же начинался буран, заметая и без того едва различимую дорогу.

Вдруг из-за елового сколка показалась четверка верховых.

– Стой! Пароль! – требовательно пробасил передний всадник, привстав в стременах.

Окрик что у белых, что у красных был одинаков, но у встречных кавалеристов из-под заиндевелых башлыков торчали лохматые казачьи папахи, а на штанах желтели лампы.

«Белый разъезд! – досадливо поморщился Голиков. – Не послушал старика, дурень».

Но боец не растерялся.

– Свой-свой, – крикнул он и нащупал за пазухой теплую рукоять нагана.

На трескучем морозе выстрел прозвучал как лопнувший подмышкой шов. Передний конник, охнув, камнем свалился с седла в сугроб. Голиков пришпорил коня и налётом проскакал мимо оторопевших казаков. Вслед застучали запозда-

лые выстрелы, но Филипп уже скрылся за белой пеленой снежной падеры¹...

– Ого! Филиппок явился – как с печки свалился! – радостно воскликнул комэскадрона Саша Горбатов. – А мы ж тут кончили – только трофеи считай.

Голиков спешился и обнял приятеля:

– Газеты вам привез! Письмо Ленина там опубликовано и про наш полк немного! Дер... – Филипп схватился за луку седла и увидел, что газет там нет – видимо, выпали, когда удирал от казаков. – Неувязочка, Сашок! Газеты-то – тю-тю! Даже на раскурку не осталось. Будут теперь про Ленина да про твоё геройство беляки читать и дрожать от страха! А с другой стороны – хорошо, тоже какая-никакая агитация...

Издали еще доносились отголоски затихающего сражения. В сизой морозной дымке матово бледнели купола красивой белостенной церкви. Вот оно – Дворецкое.

– Пулемётное гнездо у них там было, – указал на звонницу Горбатов. – А за второго номера, говорят, поп или дьякон управлялся. В подряснике. Служитель культа, язви его...

Эскадронный начал рассказывать Голикову, как Петроградский кавполк в капусту изрубил две сотни оренбургской «казары». Как в полный рост, форсисто попыхивая папиросками, шли в психическую атаку со штыками наперевес отважные штурмовики подполковника Урбанковского. И как, встреченные кинжальным пулеметным огнем, откатились они назад, оставив на заснеженном поле больше двухсот трюпов. Красные-то полки были пролетарского состава – сознательные и неустрашимые, этих агитировать – только портить, и на психику их не возьмешь – нервы и кишки у бойцов были крепкие...

За речкой Нытвой Голиков увидел страшную картину. На чистом, белом, как мрамор, снегу густо пятнели белогвар-

¹ Пáдера (*пермск.*) – вьюга при сильном ветре, буря с дождем или снегом.

дейские цепи – там, где застала их убийственная пулеметная пурга. Первая шеренга была полностью скошена и лежала ровно, как и шла в строю. Вторая и третья, похоже, с кличем «Ура!» смело бросились на красных, но рты штурмовиков так и остались навечно открытыми в последнем крике, и позёмка, причудливо струясь по полю, постепенно заметала их...

– Совсем ведь мальчонка, – сочувственно покачал головой пожилой красноармеец, остановившись у тела светловолосого юноши. – Видать, юнкарь! А где-то мамаша ночей не спит, свечки Богу ставит, ждёт-пождёт сынишку-то...

Штурмовой батальон Урбанковского хоть и назывался офицерским, но офицеры-то были все больше новоиспеченные – вчерашние юнкера да бывшие студенты, в тужурках с мятыми погонами, на которых химическим карандашом были криво нарисованы прапорщицкие звездочки.

Когда оба Красноуфимских полка ворвались на окраину Дворецкого и мощным штыковым ударом отбросили обороняющихся за околицу села, всем, даже белому командованию, стало ясно – всё кончено. Те, кто мог ходить, спешно отступили в сторону Шерьи, а раненым не повезло – на непрекращающемся морозе они быстро засыпали, и снежинки уже не таяли на их скорбных лицах...

Боясь расправы, офицеры срывали с себя погоны, потому что штурмовиков за лютость к пленным и мирному населению красноармейцы презирали и в плен старались не брать. Некоторые из убитых так и застыли с ножами в руках, пытаясь срезать с плеча погон...

Вдруг Голиков услышал дерзкий хохот, который никак не отвечал окружающей обстановке горя и трагедии. Он обернулся и увидел, как веснушчатый красноармеец в насквозь пропитанном машинным маслом тулупчике обхватил и поставил на ноги замерзшее тело убитого поручика, подокучил его, словно столбик, сгребая валенками крошево

наста, и завернул жутко скрипящую в суставах руку под козырёк фуражки.

– Пушай стоит тут, его паршивое благородие, и честь отдаст доблестным героям Красной Армии! Верно, братцы? – обратился он к сотоварищам.

– О-хо-хо-хо! Верно! Как на параде!

– Сунь ему, Игнаха, палку в рот, быдто бы сигару заморскую – нехай покурит напоследок!

– Нам его поганая честь без надобности! Лучше портки спусти охвицеру, чтоб собаки ему муди отъели – на том свете оне не пригодятся...

– А-ха-ха-ха! А может, мы их строем поставим? Пушай на тот свет маршируют под «Боже царя храни»!

– Прекратить! – молодой зычный голос эхом прокатился по заснеженному полю. – Ты что же такое творишь, негодяй! – Голиков едва сдержался, чтоб не ударить красноармейца. – Где же совесть твоя? Ты же рабочий человек! Изгаляться над убитыми – последнее дело.

– А ты кто таков? – злобно ощерился боец и попытался передернуть затвор винтовки. – А-а, контрик? Ну, так я тебя мигом уконтрапуплю и рядом с их благородием в снег воткну! Молись, паскуда!

– Подлюга ты и трус в придачу – с мертвыми да безоружными воевать только и можешь! – с леденящим душу хладнокровием Голиков глядел в безумные глаза красноармейца и дуло его винтовки. – Прекрати истерику, а то до утра не доживешь! Трибунал – не я, чикаться с тобой не будет...

– Филипп Иваныч, у Игнахи беляки отца и брата до смерти прикладами забили, вот он и бесится, – вступился за однополчанина молодой солдатик.

Голиков с боями прошел большой путь – почитай, через весь Урал. Много горя людского повидал он: приходилось Филиппу доставать из проруби утопленных колчаковцами большевиков – распухших до неузнаваемости, со скручен-

ными за спиной руками. Вынимал из петель повешенных коммунистов да и не только их – женщин и детишек тоже не щадили беляки...

– Пойми, браток, нельзя нам уподобляться белым варварам, – Голиков подошел к трясущемуся от ненависти бойцу и положил ему руку на плечо. – На нас весь мир глядит: как мы станем себя вести, так и они решат – за нами идти против угнетателей простого народа или погодить. А за родных своих в бою расплатись, и друзья тоже тебя поддержат в святой мести. Правда, товарищи?

– Что верно, то верно!

– Мы ж не зверьё какое – люди... Похороним офицера как положено! Он в честном бою погиб...

– Бросай, Игнат, баловство своё!

– Не журись, товарищ Голиков! Не без сердца мы – понимаем...

– Да что же, креста на мне нет, что ли? – одумался Игнат, опустив винтовку. – Прости, дружище, за обиду невольную...

– Бог простит, – облегченно улыбнулся Голиков. – Но на тебе, браток, не только крест, но и звезда красная – помни это!

– Вот они, колчаки, и вырезали на моённого братушки спине звезду-ту, перед тем как вздёрнуть, – вздохнул Игнат. Он бережно положил мертвого поручика на снег, с трудом уложил ему руки на груди по православному обычаю и втихоря перекрестился. – Не смеись, товарищ: я и в Господа Бога верю, и в Советскую власть – а это всё едино...

Знал комиссар Тарских, кого посылать на курсы агитаторов – Голиков за нужными словами в карман не лазил...

Красных бойцов в бою за Дворецкое тоже много погибло. Их тела на подводах привезли в Очёрский завод и торжественно похоронили на площади, как всемирных героев.

Не знал Филипп Иванович Голиков – будущий Маршал Советского Союза, начальник Главного Разведывательного управления Генштаба Красной Армии, герой Великой Отечественной войны – командуя рядом фронтов, что штурмовики белого генерала Анатолия Пепеляева в марте 1919 года все-таки возьмут и Дворецкое, и Очёр: памятник красноармейцам разрушат, могилу разроют, достанут гробы с мертвецами и вывалят их в Поганый Лог – на съедение псам. И что в рядах «их благородий» не найдется ни одной благородной души, кто сумел бы остановить это мерзкое святотатство...



Филипп Иванович Голиков в
Перми, 1921 год.



Боец полка «Красных орлов»
Ф. И. Голиков в 1919 году



Подполковник Е. Ю.
Урбанковский, участник
боя за село Дворецкое 19
января 1919 года.
Через два месяца Урбан-
ковский будет убит на
улицах того же Дворецко-
го, во время крупномас-
штабного колчаковского
наступления.



«Штурмовики» генерала Пепеляева – участники боя под
Дворецким. Многие из них погибли в том бою и были
похоронены на Егошихинском кладбище в Перми.



Памятник бойцам 29 и
30 дивизии Красной
армии, павшим в бою
за село Дворецкое
(г. Очер)



Диорама «Бой за село Дворец»
(очерский краеведческий музей)

ДВЕ КОПАНИ

Они спешат, чтоб не отстать
Над ними шелк багряный реет,
Но всё больнее отмечать,
Как этот славный строй редет.

Гремит оркестр, стучат сердца,
Идут в колонне ветераны...
– Не вижу среди них отца:
Сразили фронтовые раны.

Оставил на войне солдат
Здоровье, силы молодые...
На алом бархате лежат
Его награды боевые.

Нина Гордийцева

Старенькая, выдавшая виды полуторка, брызжа из-под колёс мокрой галькой, бойко петляла по ухабистой гравийке. В кузове, крепко держась за его борта и в полшёпота помахиваясь, тряслись рабочие-строители, что ехали в Петраковский колхоз возводить новый коровник.

– До Куликов мы вас подбросим, а там пешочком всего-ничего – версты две, не больше! – бородатый, не местный обличьем бригадир обратился к двум попутчикам, посаженным в кузов сразу за Очёром. – Осилишь путь, красавица, в босоножках-то? – блеснув стальной фиксой, весело улыбнулся он застенчивой девчушке лет двенадцати. – Батя твой уж точно осилит – сразу видать, что войницу оттопал, – перевел он взгляд на высокого мужчину в выцветшей гимнастерке и пыльных кирзачах с исшарканными до блеска подошвами. – Пехота? С какого фронта, служивый?

– Хм, пехота... Черноморский флот! – гордо вздел голову попутчик, расстегнув ворот, под которым запестрели черно-белые полосы «морской души» – тельняшки.

– А-а, мореман! Медузы мазутные, утюги водяные! А я с Третьего Украинского – толбухинский! Одессу освобождал, Измаил брал, как генералиссимус Суворов! Выходит, соседи мы! – обрадовался бригадир.

– Ах ты, пехтура портяночная, крупоед мой дорогой! Да меня ж в Измаиле война застала! – оживился моряк. – Крепко мы тогда румынам всыпали. Ни в жизнь не отдали бы город, да все равно оставить пришлось – по приказу...

– Ну вот, вы оставили, а мы взяли! Давай обнимемся, братишка! Как звать-величать-то тебя?

– Гордийцев Николай. Для тебя – просто Коля! А это Нина – дочка моя.

Веселый бригадир с деланной церемонностью бывшего солдата обтер об штаны ладони: правой осторожно пожал Нине руку, а левой, словно фокусник, выудил из-за пазухи конфетину в засоленной обёртке.

– Угощайтесь, Ниночка! – подмигнул он девочке, а ее отцу протянул папиросную коробку. – Затабачивай, черноморец! Значит, Коля-Николай, решил дочурке Копань показать? Милое дело! Не Копана Балка, конечно, но тоже красивое место...

– Постой, а ты и Копану Балку помнишь? – вскинулся Гордийцев.

– Еще б не помнить! – бригадир засучил рукав штормовки и показал Николаю сизый шрам, причудливой извилиной рассекший предплечье. – Прямо на берегу Дуная осколком дерябнуло, едва культишки не лишился. Докторам спасибо, а то б дядя лысый вам сейчас тут фермы строил? Я ж плотник, столяр, слесарь, пекарь да карточный шулер в придачу – мне без руки никак не можно... Приехали!

На развилке за селом Кулики бригадир постучал кулаком по кабине, шофер остановил полуторку на обочине, Николай ловко спрыгнул с кузова на землю, затем принял на руки дочку.

— В пять часов машина обратно поедет — подберет вас! Будь здорова, Нин! Держи краба, земля! — бригадир свесился с борта, протягивая Николаю узластую ладонь. — Хоть по праздникам вспоминай Илюху Ливаду — красного бойца да девкину отраду!

Полуторка, рокотнув натруженным мотором, двинулась дальше — на Токари. Отец с дочкой долго глядели ей вслед: бригадир Ливада махал им зажатой в кулаке кепкой, и Николай сразу вспомнил, как тогда, туманным утром 1941-го, точно так же давал отмашку бескозыркой матрос-разведчик с левого берега Дуная, когда старшина 46-го отдельного арtdивизиона Дунайской военной флотилии Гордийцев в составе десантно-штурмовой группы ожидал на Копаной Балке приказа о форсировании реки...

Нина в первый раз отправилась в столь далекое путешествие — как-никак, почти сорок километров — и поэтому с нетерпением ждала чего-то необычного, чего не увидишь в Очёре. Однако ничего особо приметного на глаза пока не попадалось. Все та же скромная красота прикамской глубинки: неровные квадратики полей, испещренные березовыми сколками и сосновыми перелесками; стройные ряды золотистых стогов на обширных покосах; неприветливо колючие, заросшие крапивой малинники; потонувшие в буйных красках разнотравья косогоры, вдоль и поперек прорезанные глинистыми ложбинками.

Но Нину трудно было разочаровать — она и этому радовалась. Под пенье птиц, мерный стрёкот кузнечиков и деловитое жужжание пчёл Нина зорко подмечала все детали, что

таила в себе природа, а чего не было видно – додумывала, дорисовывала сама, и строчки незатейливых стихов, словно букетики цветов, сами складывались в ее голове. Весело приплясывая, она бубнящей речёвкой напевала их себе по нос:

Полдень. Зной. С дороги слева
Вижу цвет, что дорог мне.
Василек, ромашка, клевер –
Наяву, а не во сне.

А рядом, улыбаясь, широко шагал отец. И Нина больше всего радовалась именно тому, что она идет по тропинке вместе с папой, что он у нее, в отличие от многих подружек, все-таки есть – пусть и израненный, потрепанный войной, рано поседевший, но – живой. Можно запросто подержаться за его сильную руку, подергать за полу гимнастерки, взобраться ему на плечи, обнять за шею и водрузить на голову цветочный венок. И они вместе счастливо расхохочутся...

И вдруг неброский пейзаж закончился, и взору Нины предстало нечто невообразимое, на первый взгляд, никак не вписывающееся в кроткий очёрский ландшафт. Вот она – Копань! Толщу земли, словно гигантский рубец от меча Бога, прорезал огромный овраг, внутри которого хрипло, с резким взбулькиванием клочкотал мутный речной поток, питавшийся от живописного пятисаженного водопада. А на самом его краю, прямо в считанных пядях от бездны беспечно плавали мальки-морижки¹.

Овраг, то сужаясь, то раздаваясь вширь, разлапым драконьим хвостом змеился посреди векового леса. Его стены рыжели глиной, выставляя напоказ обнаженку всех горных пород на свете, что, наверное, могли рассказать сведущему человеку почти всю историю жизни нашей планеты. К самому краю Копани пятились исполинские ели, прижатые к обрыву, словно былинные витязи чужой ратью, судорожно, из

¹ Морига (*верх-очерский говор*) – пескарь, рыба семейства карповых.

последних сил цеплялись они корнями за осыпающуюся кромку оврага, стояли насмерть, въедаясь в родную землю. Иные деревья уже склонились над пропастью, как хоругви поверженных в бою дружин, а кое-кто и повалился в сражении с безжалостной стихией, мертвыми телами скатившись на дно широкой пади...

Вниз, к самому потоку вели слаженные умельцами из жердей хлипкие лесенки, хотя некоторые смельчаки отваживались спускаться к руслу по каменистым уступам, держась за редкие кустики, что независимыми дикоросами гордо торчали прямо на отвесной стене. Нина хотела было слезть к воде, что несла вдаль пенные шапки, но отец не позволил – уж больно высоко...

Верно говорят, что всякая природа от Бога и одинаково хороша, но все же есть у Всевышнего свои любимые уголки, и Копань – один из них.

– На нашу Кукуйскую гору похоже! – удивилась Нина. – И деревья на краю, и страшно-то так же, и дух захватывает – как красиво! Только Кукуй ввысь растет, а Копань – в глубину...

– Верно, дочка! – ответил Николай, но подумал совсем о другом. Ему, так и не остывшему от войны, Копань напоминала гигантский противотанковый ров, обнесенный частоколом засек. Пни – это надолбы, густая непролазь кустов – паутина колючей проволоки. «Вот тут бы я пулеметное гнездо устроил – сектор обстрела идеальный, а за тем увалом удобно минное поле замаскировать», – деловито рассуждал старый вояка.

– Пап, а почему красоту-то такую столь незатейливо назвали – Копань? – спросила Нина. – Будто колодец какой или канаву. Нет чтоб – Великий Канал или Гигантская Прокость...

И Николай Гордийцев рассказал Нине, что красота эта далась простому люду слишком дорогой ценой, чтоб он ре-

шился дать ей броское имя. Дело было так: во время Отечественной войны 1812 года император Александр Первый посоветовал всем российским заводчикам да фабрикантам поразмыслить над тем, как увеличить производственные мощности предприятий. Царский друг и сотоварищ Павел Строганов не мог проигнорировать высочайшую просьбу порадовать на «оборонку».

Владелец Очерского завода – одного из самых крупных в Прикамье по производству стратегически необходимого железа – дал соответствующие указания в свою вотчину, и за дело взялся крепостной гидротехник Бушуев. На российских заводах того времени для приведения в действие машин и молотов по старинке использовали энергию падающей с высоты прудовых плотин воды. Но даже в огромном – втором в Европе по площади зеркала – Очерском заводском пруду воды на весь сезон не хватало. Летом водоем сильно мелел, с июня по август завод простаивал, и мастеровые «гуляли» вынужденные отпуска.

Поэтому инженер Бушуев, уповая на передовой западноевропейский опыт, предложил соединить истоки рек Чепцы и Очер. Он был уверен, что вода из верховьев Чепцы бурным потоком потечет в сторону Очера, с лихвой наполнит пруд, и завод будет работать круглый год на всю катушку. Дерзкий по замыслу проект был одобрен рачительной хозяйкой Софьей Строгановой, на которую пала обязанность руководить огромными вотчинами, пока ее сиятельный муж граф Поль д'Очёр освобождал старушку Европу от наполеоновских полчищ. Женщина она была сметливая, в науках разбиралась во сто крат лучше своего супруга, поэтому сразу увидела все выгоды от успешной реализации бушуевского плана.

На строительство канала ушло два года. Трудно себе даже представить грандиозные масштабы адского ручного

труда строгановских крепостных!¹ Бедные крестьяне работали вручную – лопатами и кирками выбирали грунт и на лошадях вывозили его в лес и овраги. По свидетельствам летописцев, во время работ нередко случались волнения, и в десятников летели палки и камни.

Обидно, но такая сумасшедшая работа, стоившая людям многих горестей и лишений, которую современники сравнивали со строительством египетских пирамид, оказалась почти напрасной. Канал не оправдал возложенных на него надежд – вода в Очерский пруд течь, увы, не пожелала.

История умалчивает – всыпали ли проштрафившемуся инженеру Бушуеву «в задние ворота» на барской конюшне или нет, однако очёрцы благодарны ему хотя бы за то, что им на обозрение досталась уникальная во всей своей красоте достопримечательность!

– Предкам – в тягость, потомкам – в радость! Вот так-то, Ниночка! – подытожил Николай. – А Копань – тоже красивое название. Я уже раньше слышал такое – давно, в Бессарабии. Даже жил на Копани...

– Это про которую веселый бригадир рассказывал? Копана Балка? На войне, да, папочка?

¹ Летом и осенью 1813–14 годов крестьяне Очерского, Сепычевского, Путинского, Вознесенского приказщичеств, приписанных к Строгановским заводам, вырыли Копань – канал 1,5 км в длину, от 6 до 100 м в ширину и от 5 до 40 м. глубиной. В поистине каторжных работах участвовали более пяти тысяч крестьянских хозяйств. Каждой семье полагалось выработать по десять дневных уроков. Один урок – вырыть и перевезти 6 кубических аршин мягкого или 3 твердокаменного грунта. Всего было выбрано более 852 тысяч кубометров земли. Получается, что если бы канал Копань рыли сейчас, то чтобы вывезти горы этого грунта, потребовалось бы 85 тысяч «КАМАЗов»-самосвалов!

– Ишь ты, запомнила, умничка! Да-да, Копана Балка Марэ, – и мыслями Николай уже перенесся в жаркий субботний день июня 41-го, в приграничный городок Измаил, навеки овеянный славой и щедро омытый кровью русского воинства...

После того как Красная Армия сбросила в море остатки войск барона Врангеля, помещик Филиппов не стал испытывать судьбу и, наскоро собрав утаенное золотишко и фамильные побрякушки, сбежал в Южную Бессарабию, под защиту румынских штыков. Там, на окраине Измаила, в дивном местечке под названием Копана Балка, он отгрохал чудный особняк – со львами, колоннами, флигельками и купальнями. Однако Филиппов, как оказалось, чуток промахнулся – надо было куда подальше бежать.

Летом 1940 года Гитлер убедил румынское правительство не ссориться со Сталиным и добровольно передать Бессарабию, еще в 1918-м под шумок оттяпанную румынами у молодой Советской России, обратно под крыло СССР. Так что пришлось бедолаге-помещику снова паковать чемоданы да баулы и задавать драпака. Барахло-то Филиппов увез, но шикарный особняк пришлось бросить, как он слезливо причитал, на поругание большевистским варварам.

Однако в усадьбе разместились вовсе никакие не варвары, а советские краснофлотцы из 462-й зенитной артбатареи. Ломать да рушить они тоже ничего не стали. Молодые парни под командой старшины Гордийцева первым делом по морскому закону, засучив рукава матросок, устроили аврал, до блеска отдраив каждый уголок особняка. Привычные к спартанским условиям моряки только диву давались, разглядывая богатые апартаменты: тут вам и зеркала в золоченых рамах, и шкафы красного дерева, полные хрустальной да серебряной посуды, изящные столики с витражами.

– Вот живут же буржуи, копана балка! – удивлялся командир батареи Кашинин. – У кота – и того отдельная комната! Киньте ему селедки, а то мяргает весь день – спасу нет. Забыл тебя хозяин-паразит, да, Васька? Ничего-о, Советский флот тебя на довольствие поставит!

– Давали уже – не жрёт, товарищ комбат! – отвечали матросы. – Фырчит и нос воротит, привереда шерстистая! Видать, к нежной пище приучен. Не моряк!

– Да-а, не наш, копана балка! – смешная присказка уже прочно приклеилась к Кашнину, и моряки вне строя, шутя, так и звали его за глаза.

Флотский порядок и уют органично вписался в барские покои: резные кровати с пуховыми перинами матросы заменили на солдатские койки. На стенах с лепными потолками дорогущие картины голландских мастеров и фривольные фрески мирно соседствовали с наглядной агитацией – «Крепи оборону СССР» или «Иди, товарищ, к нам в колхоз», а в библиотеку на полки с французскими любовными романами проникли пухлые томики Карла Маркса.

На песчаном дунайском пляже посреди лежаков с зонтиками высился флагшток с военно-морским стягом. А на кухне к традиционным запахам румынской чорбы, сармале и мамалыги добавился аппетитнейший аромат макарон по-флотски.

Субботний день близился к вечеру. Краснофлотцы чехлили 76-миллиметровые орудия, протирали мудрёные детали прицелов. Начисто пробаненные стволы зениток сонно глядели в мирное небо Измаила, давно уже не слышав команды «К бою!». Разговоров о надвигающейся войне было много, но как им верить здесь, в укромном раёчке Копаной Балки, среди неги виноградных садов и вишневых кущей?

– На сегодня и на завтра освобождаю тебя от нарядов, Гордийцев! Приказываю спать – завтра бой! – велел комбат Кашинин. – Попробуйте мне только продуть этим хваленным

одесситам, копана балка! Двадцать четыре часа в сутки будете у меня матчасть зубрить или даже двадцать пять!

Бой предстоял нешуточный! Футбольная команда Одесской военно-морской базы считалась лучшей на все Причерноморье. Измаильцы уже были ей позорно биты, поэтому 22 июня планировали взять убедительный реванш. На Николая Гордийцева возлагались особые надежды: он обладал пушечным ударом, после которого мяч нередко рвал сетки ворот и вывихивал у вратарей запястья.

– Гляди у меня, Гордийцев, не подгадь! – погрозил ему пальцем Кашинин. – Победите – всей батарее увольнительные в город подпишу! Ей-богу! Будет вам и мороженое, и пиво холодное – по кружке, так и быть, разрешу. Эх, и молдаваночки-то на бульваре до чего милы, копана балка...

Перед отбоем Николай еще раз примерил новые бутсы, выменянные им на базаре у старичка-грека. Настоящие, фабричные, кожаные, шипы угрожающе торчат, как клыки из судачьей пасти – сами братья Старостины позавидовали бы таким бутсам! «Накладём им, если сами не обкладёмся», – устало зевнул Гордийцев и, едва коснувшись головой подушки, захрапел...

Проснулся он в два часа ночи – быстро, будто и вовсе не спал. Гордийцева разбудил ревун тревоги, сквозь противный вой которого отчетливо слышалась трескотня крупнокалиберных пулеметов. С противоположного румынского берега Дуная по Копаной Балке длинными очередями велся плотный огонь. Пули застучали по крыше и стенам филипповского особняка, отбивая штукатурку.

– Это по нам?! Румыны шо, з глузду зъихалы? Война, что ли, братцы? Провокация! Почему мы молчим, ёк-макарёк? Ой, а мне клеши продырявило! – загалдели моряки-батарейцы.

– Спокойно! – пригибаясь под пулями, на позиции уже спешил комбат. – Я кому сказал, копана балка, спокойно!

Однако большой нужды приводить в чувство моряков не было: все были одеты по уставу, свежи и побриты, при оружии – флот есть флот!

– Слушай мою команду! Батарея – к бою! Первое и второе орудие – штатно, третье и четвертое – развернуть на прямую наводку. Цель – укрепрайон Сату-Ноу! Без моего приказа огонь не открывать! Гордийцев, остаешься за старшего! – живо распорядился Кашинин и бегом метнулся к телефону, чтобы получить указания командования.

В это время с румынских кораблей, стоявших далеко на рейде, ударили пушки. Били прицельно, без пристрелки – на Копаной Балке занялось несколько пожаров. Загорелись крытые соломой дома портовых рабочих. Послышались крики попавших под обстрел мирных жителей, по Дунаю зловещим эхом прокатился истошный вой гибнущего в пожаре скота...

– Товарищ комдив! Батарея накрыта огнем вражеской артиллерии. Разрешите открыть ответный огонь! – дозвонился Кашинин до своего прямого начальства.

Но в трубке прозвучало:

– Не разрешаю! Не смеешь отвечать на провокации! – и связь оборвалась.

– Вот копана балка! Соедини меня с Первым! – приказал комбат связисту. – Первый? Докладывает комбат 462-й! Не имею связи с комдивом, поэтому прошу Вашего разрешения открыть огонь!

– А если это очередная провокация, лейтенант? – ответил командующий Дунайской флотилией контр-адмирал Абрамов. – Влетит нам по самое «не хочу» и не тебе – мне в первую очередь!

– Ну копана же балка, уже влетело, товарищ контр-адмирал! – начал раздражаться Кашинин. – Лупят по нам, аж уши заложило! Город горит, люди гибнут! Надо наказать супостата!

– Ладно, уломал! Бей, Кашинин! По пять выстрелов на орудие, а там посмотрим!

– Есть, товарищ контр-адмирал! – улыбнулся комбат, поправил на стриженной голове фуражку с крабом и побежал к орудиям.

Обстрел не прекращался, румыны патронов и снарядов не жалели.

– Товарищ лейтенант! Батарея к бою готова! На всякий случай взял инициативу, – доложил старшина Гордийцев. – У нас двое легкораненых и один убитый.

– Кто?! – напрягся Кашинин.

– Кота Ваську прямым попаданием, в клочья... Не убежали...

– Ить, копана балка! Еще раз так шутканешь, Гордийцев, самому прямым попаданием в морду зазвездячу! – взбесился комбат. – Батарея, приготовиться к бою! Всем орудиям выбрать цели на Сату-Ноу! За Советскую Родину-у! За товарища Сталина-а! По коварному врагу-у-у – огонь!

«И за кота Ваську, копана балка...», – мысленно добавил Кашинин после того, как прозвучал первый залп Великой Отечественной. Стрелки на его командирских часах только-только подбирались к 2.45...

После третьего залпа батареи Кашинина орудия и пулеметы на румынском полуострове Сату-Ноу, чей мыс находился в четырехстах метрах напротив Копаной Балки, захлебнулись и замолчали. Лишь с речных мониторов, замаскированных в дунайских плавнях, изредка бахали пушки. Беспокоящий огонь велся до самой темноты и, хотя и не причинял особого урона, существовала угроза, что рано или поздно румыны обнаружат замаскированные стоянки наших кораблей и артиллерийские позиции. Чтобы упредить врага, контр-адмирал Николай Осипович Абрамов решил осуществить дерзкий план: высадить десант на территорию Румы-

нии и захватить плацдармы для развития дальнейшего наступления.

В ночь на 24 июня 1941 года два орудия батареи лейтенанта Кашинина скрытно выдвинулись на территорию измаильского порта, чтобы прямой наводкой поддержать десантников. В штурмовой отряд входили пограничники, пехотинцы, моряки. От 462-й артбатареи в состав десанта влилась группа краснофлотцев во главе со старшиной Николаем Гордийцевым.

Едва забрезжил рассвет, бронекатера с советскими бойцами подошли к румынскому берегу и начали высадку. Румыны не успели опомниться, как пушки Кашинина бронбойными снарядами уничтожили наблюдательную вышку на Сату-Ноу и фактически ослепили врага. Десантники без потерь выбрались на берег и с ходу атаковали вражеские позиции.

— Полундр-р-ра! — раздался леденящий кровь возглас. — Ур-ра! — раскатисто пронеслось над Дунаем.

Гордийцев, зажав в зубах ленточки бескозырки, прикнул штык к винтовке и, пригнув голову, бросился вперед. Оглянувшись, Николай увидел, что его товарищи все до одного шли за ним, и сколько мужества было в их лицах, сколько решимости, бесстрашия и полного презрения к смерти...

Атакующие быстро смяли огорошенных румын, которые в панике разбегались кто куда. Одни бросались в воды Дуная, другие поспешили спрятаться в камышах, но большинство подняло руки вверх и дрожало от ужаса, когда к ним приближалась лавина черных бушлатов, защитных гимнастерок и зеленых фуражек. Наверное, точно также тряслись от страха турки, когда сто пятьдесят лет назад на штурм Измаила бросились суворовские чудо-богатыри...

К утру над фортом укрепрайона Сату-Ноу нервно, словно прося пощады, затрепыхался белый флаг. Повсюду лежа-

ли трупы в мундирах цвета хаки и причудливых шлемах с румынскими гербами. Семь десятков солдат и офицеров армии Антонеску сдались в плен, а у десантников даже не зацепило никого серьезно. Чудно: на других фронтах немцы уже взяли Гродно и Вильнюс, рвались к Луцку и Ровно, подбирались с Минску и Львову, а тут, на Нижнем Дунае, советские войска, как и планировалось в Генштабе, воюют малой кровью и на чужой территории. И будут там успешно сражаться еще целый месяц...

— Жив, копана балка! — комбат Кашинин вихрем налетел на Николая и смял его в объятиях. — Наклали мы румынам! Видал миндал как ихняя башня скопалыздилась? Как подкошенная! С двух снарядов — как гвозди влупили! — и вдруг комбат неожиданно перешел на официальный тон. — Старшина Гордийцев! Вам поручается заменить вон ту пропуканную простынку, — Кашинин презрительно указал на румынский белый флаг, — на наш советский морской стяг! А то подумают еще, что это мы, черноморцы, лапки подняли...

Кашинин бережно развернул сверток, в котором блестело шёлком полотнище с большой красной звездой и серпом и молотом над синей полоской моря. Николай узнал батарейный флаг, что еще утром развевался на пляже Копаной Балки, а теперь будет должен символизировать новую победу русского оружия. Первую победу в Великой Отечественной войне...



Очёрская поэтесса
Нина Николаевна
Гордийцева
(1949-2020)

Николай Владимирович
Гордийцев,
главстаршина береговой
охраны Черноморского
флота, герой битвы
за Измаил





Копаная Балка – район г. Измаил (ныне Одесская обл. Украины). Источник: <https://vk.com/club3739406>.



Канал Копань – г. Очер, Пермский край. Фото А. Итаева (nashural.ru)

ЗА ДЯДИКОЛИНОЙ СПИНОЙ

...Я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные: здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артоналета, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы – в общем, я делал все то, что делали все, каждый вокруг нормальный солдат, боец, человек. Других, поступавших иначе – не видел, не знал, за два года непрерывной фронтовой жизни не встречал ни одного.

И. М. Смоктуновский

– Каски снять, котелки – прочь, чтоб не брякали, «сидора» – тоже вон!

Невысокий, но молодцевато подбористый сержант проворно содрал с себя лишнюю амуницию, затем достал из измазанных глиной галифе неожиданно чистый по военному времени носовой платок и, бережно сняв с груди новенькую геройскую звездочку и орден Красной Звезды, завернул награды в тряпицу.

– Ни к чему фрицам знать, что по их души герои идут – больно чести много. А вот гвардейский значок оставим на божий страх, – озорно подмигнул он безусому солдатику, тарачившему на бывалого воина восторженные глазищи, опущенные длинными девчоночьими ресницами. – Парень, я не шучу – скидай вещмешок! Что ты там прячешь? Никто твои хохоряшки не тронет. Как говорится, нема дурных сюда со-

ваться. Все «дурные» вон, на «нейтралке» отдыхают. Вечным сном и в ангельских званиях...

Разом посуровевший сержант указал на несколько бугорочков в серых шинелях и замурзанных ватниках, что застыли в разных позах на изрытой воронками равнине. У некоторых даже издали были заметны перекошенные от боли, забитые землёю рты и белели изодранные в страшной агонии нательные рубахи.

Это были красноармейцы 75-й Гвардейской стрелковой дивизии, подкарауленные опытным гитлеровским снайпером в полосе атаки. Немец, которого так и не смогли засечь, откровенно издевался. Стрелял метко и не всегда сразу наповал. Иных бедолаг подло мучил: ранил в живот, в горло, а чаще – в пах. А потом по-садистски наслаждался нечеловеческим криком, от которого у бойцов, особенно из необстрелянного пополнения из Средней Азии, леденела кровь в жилах, и командиры никакими уговорами, руганью и угрозами расстрелом уже не могли поднять их в бой.

Комполка Маковецкий, дрожа от ярости, собрался самолично, как стемнеет, найти и на куски порезать гадину.

– А чего темноты-то ждать? Пока мешкаем, этот изверг еще столько же ухлопает, – с деловитым спокойствием высказался Герой Советского Союза сержант Николай Носков. – Я – охотник, так что эту породу знаю: волчара бешеный, которого даже свои сторонятся. Таких упырей я у себя в Очёре не один десяток перестукал. Им спуску нипочем давать нельзя. Зазеваешься – полстада загрызет. Не ради жрачки даже – из пустого баловства...

– Михалыч, тебя ж еще недавно из кусочков собрали и дышать с трудом заставили! Тут силенки нужны и нехилые, а ты, как мне доложили, и до ветру все еще на карачках ползаешь, – забеспокоился командир. – На тебя и так уже три похоронки отправляли – не пущу...

– Я скрадом, товарищ подполковник, по ложбинкам да пригоркам. А ночь не нам, а ему в преимущество – ищи-свищи его впотьмах... И сил моих не считай, до Берлина их хватит!

– А вдруг он там не один?

– Этот-то? Этот оди-ин – никто к такой мрази в напарники не пойдет. А не веришь мне, дай пару бойцов. Халила и, – Носков огляделся. – Хотя бы вон того приبلудного солдата. Эй, как тебя там – Кешка?

Кешку послали с донесением в 231-й стрелковый полк, и он тут так и остался, потому что вернуться обратно у него не было никакой возможности даже ночью. Немец остервенело бил по плацдарму, простреливая каждый клочок земли, бросался в яростные контратаки.

– Не бойсь – дезертиром не сочтут! Сам видишь, некуда отсюда дезертировать – только в «могилевскую губернию»... Оставайся с нами, сынок, – по-отечески успокаивал солдатика Носков. – На-ка вот, поклюй немного и покемарь, пока немец разрешает. – Пододвинул он котелок с аппетитно дымящимся кондёром из пшеничного концентрата с кониной. – Смелее тычь – силёнки нам еще потребуются...

С этого момента Кешка уже ни на шаг не отходил от заботливого сержанта, который умудрялся даже в самом пекле блюсти своих бойцов в сытости, «наркомовской пьяности», в тепле и на полном табачном довольствии.

Кешке шел уже девятнадцатый. Дома в Красноярске он крутил кино в солдатских госпиталях и пробовал играть в местном драмтеатре. Впервые увидев спектакль, Кешка навсегда потерял сон и постоянно надоедал худруку просьбами дать хоть какую-нибудь малюсенькую ролюшечку. Но на сцену его пускали редко. И не потому, что Кешка был бездарным лицедеем, а наоборот: его актёрский талант уже то-

гда озадачивал, ломал каноны, и режиссеры проявляли вполне логичное по тем временам благоразумие, «зарубая» парню даже пустяшные выходы с «Кушать подано!» – как бы тот не отскормил чего-нибудь «лет на десять без права переписки»...

И еще Кешка в нетерпении ждал, когда наступит призывной возраст. Но когда в Сальских степях пропал без вести его отец, Кешка, не сказав домашним, пошагал в военкомат. Смышлёного сибирячка определили на учебу в Киевское пехотное училище, еще в начале войны эвакуированное в Ачинск. Но лейтенантские погоны примерить Кешке так и не удалось. За драки, актерские чудачества и «длинный язык» из училища его турнули и от греха подальше отправили прямиком на фронт – как раз к самому «веселью», на Курскую дугу, на пополнение 75-й Гвардейской дивизии, понесшей большие потери. Бойкого парня назначили связным при штабе полка. Однако те, кто думает, что эта служба – ковыряй в носу и не бей лежащего, глубоко заблуждаются.

Связь на фронте – первое дело, но... Взять хотя бы проводную: так сколько кабеля ни намотай на катушку, его все равно до того, куда надо, не хватит. К тому же она портилась от непогоды и выходила из строя даже после несильного обстрела. И еще пойдешь, попробуй, найти порыв, когда ошметки проводов разбросает на сотню метров кругом, и не поймешь, где тут твой кабель, где соседский, а где и вообще фрицевский. А радиосвязь, как шутили фронтовики, была на передовой такой же редкой как связь половая.

Поэтому командиры по старинке больше доверяли самому надежному виду связи – человеческой. Исключительно смелых и смекалистых бойцов, кто лаптем щей не хлебает, стороны света не путает и, если надо, даже мертвый дойдет и приказание доставит, командиры определяли в связные.

Кешка каждый божий день мотался туда-сюда под огнём: то козлом скачет по кочкам, то червем ползёт. Где по

брюхо в болотной жиже, где – по самую макушку. А тут, на Днепре, – все больше рыбкой, ладно хоть не топором... Не раз охотились за ним немецкие пулеметчики, щедро сыпля длинными очередями по беззащитной на красной от крови воде Кешкиной фигурке, прямо как по Чапаеву в кино. И на земле, конечно, в покое тоже не оставляли: шинель у солдата была как решето, по каске пару раз так звездануло осколками, что по сей день звон в ушах. Но жив – спасибо лысьвенским рабочим, что эти шлемы штампуют...

У штанов с мясом карман выдрало – заштопать некогда. Сил нет, как совестно: станешь командиру козырять – весь срам наружу. Будто перед красной девкой...

Каблук ботинка разворотили, даже саперную лопатку и ту продырявили, а на Кешке хоть бы царапина. Даже пальца за всю войну не порезал! Чудно Кешке, но и страшно – надолго ли такая фартовая полоса? Сколько товарищей, таких же отчаянных, но менее удачливых полегло прямо у него на глазах. Одного танк раздавил, второй в Днепре утоп. Третий было уже вернулся: перевалившись через бруствер, радовался, что жив, всё пытался сигарку свернуть, тряс Кешку за плечо, сбиваясь на нервный смех со слезами, хотел рассказать про то, какой он счастливый...

Но не успел ни рассказать, ни покурить – прямо в затылок ожгла неизвестно как залетевшая в окоп шальная пуля. Так что даже бывалые бойцы не завидовали связным, называя их «посыльными на тот свет».

Сержант Носков сам не раз бывал в этой шкуре. Однажды комполка отправил его на машине с секретным донесением. По пути «виллис» наскочил на мину – Носкова так шарахнуло, аж сапоги слетели! Но пакета он не выпустил. В санбате доктора пытались вырвать его из рук, но он от них оборонялся как от фрицев по всем правилам рукопашного боя. Нащупал в кармане лимонку, выдернул кольцо да так и сидел, щипая себя за ухо – боялся впасть в отключку. Мед-

персонал, конечно, врассыпную, даже безнадежно лежащие тяжелораненые мигом сползли с коек и, против всех законов медицины, проворно покинули помещение. И только когда сержант увидел знакомое лицо командира, он позволил себе потерять сознание.

Днепр Носкову, в отличие от других героев, пришлось форсировать несколько раз. Легко сказать: ведь на куда меньших речушках, что и курица с цыплятами, перьев не замочив, вброд перешли бы, теряли наши при переправах до половины личного состава, а тут – Днепр! Еще со школы в памяти Носкова остались назубок вызубренные слова Гоголя: *«Редкая птица долетит до середины Днепра!.. Кто из козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает, как мух, людей»*.

«Козаки»-то, может, и не осмелились бы, а бойцам Красной Армии пришлось. И даже без всяких челнов – на утлых плотах, а чаще – нагишом, держась за склизлые бревна или скатанную в ком амуницию. А бурю лучше, чем боженька всевышний, изображали немецкие орудия и пулеметы. Да а, налопался осенью 43-го чудный Днепр свежей солдатинкой до отвала, а тех, кого не смог проглотить, прибило волнами к обоим берегам, и до того густо, что никакой чёлн не смог бы причалить, не задев тел утопших...

Первый раз Носков переправлялся на ту сторону вместе с разведчиками и, увидев, какую силищу собрали немцы, чтобы сорвать форсирование, сразу понял, что тут будет настоящий ад. Перед боем он, как мог, старался успокоить своих солдат, учил, как правильно держаться на воде, не бояться встречного огня. Безусые пацаны, необстрелянные, многие из которых и плавать-то не умели, верили Носкову. И в службе, и в дружбе он был для них виды выдавший сорока-

летний дядька, все на свете знающий и умеющий отец-командир, с каким в компании и жить легче, и помирать не так страшно. Но глядя в молодые лица бойцов, Носков себя не обманывал. Он-то понимал, что очень многие не доплывут до берега, да и тем, кто все-таки уцелеет и доплывет, суждено пережить или, скорее всего, не пережить еще один крошечный ад, удерживая плацдарм. Поэтому он обманывал их. Обманывал тем святым обманом, каким пользуется священник, благословляющий идущих на смерть за родную землю и за други своя...

Под свинцовым градом он первым ступил на берег днепровского острова, оглянулся назад и даже повеселел, когда увидел, что большинство парнишек, которых он инструктировал – мокрые, голоштаные, дрожащие от холода и страха, наперекор прогнозам все же выжили, инстинктивно следуя за его спиной в слепой вере, что дядю Колю не могут убить, а потому нет места безопасней, чем подле него. «И оружие не побросали, не утопили – молодцы, мальчишечки! – радовался Носков, стряхивая с гимнастерки пучки водорослей. – Прямо как тридцать три богатыря и с ними дядька Черномор!»

Собрав остатки роты, он повел бойцов в атаку, и немцы, устремились этого воинства, со свистом и гаем бросившегося прямо на пулеметы. И фашисты, побросав эти пулеметы и все остальное, задали стрелка из своих окопов к старому руслу Днепра, где у них были запрятаны большие лодки. Чтобы не дать им спастись, Носков с несколькими смельчаками зашли в тыл к отступающим фрицам и оттолкнули лодки от берега. Участь попавших в западню врагов была предрешена – в азарте боя пленных не брали...

Но плацдарм надо было еще расширить. Старый рыбак и охотник Носков по только ему ведомым приметам нашел безопасный брод через днепровскую старицу и скрытно провел по нему штурмовую группу. Как снег на голову налетели бойцы на немецкую оборону, выкурили гитлеровцев из

блиндажей и окопов, и стояли там насмерть, пока на выручку не подоспели свежие батальоны.

Так Носков третий раз за сутки форсировал Днепр, а пришлось и четвертый, но уже в другую сторону... Восемь человек осталось от роты, да и то, как говорится, неполных – кому ногу оторвало, кто руки лишился. Носкова нашли среди груды тел – своих и чужих. Сам командующий армией Черняховский приказал: «Если жив, найти во что бы то ни стало!» Искали долго, потому что сам на себя не был похож Носков, родная мать бы не узнала – не человек, а отбивная котлета. Но дышал, потому его бережно, как Ахиллеса на щит, положили на какой-то притвор и на этом «ковчеге» переправили в тыл...

В госпитале Носкову вручили две награды сразу – «Красную Звезду» и Звезду Героя с орденом Ленина. Едва оклемавшись, сержант написал письмо на родной Очёрский завод, где попросил земляков впредь не верить похоронкам, и... дал дёру из палаты. Так он снова оказался в своей родной дивизии, в пятый раз форсировав Днепр.

На Носкова целыми делегациями приходили любоваться как на чудо, расспрашивали, трясли руку и даже качали. Несли подарки – банку тушенки, кисет или сэкономленные сто граммов. Сам Козьма Крючков в Первую мировую не имел столько славы, как Носков, но тот казачок все больше по штабам да великосветским будуарам геройствовал, а сержант прятался от лишнего внимания на передовой, хотя и не всегда успешно.

Однажды командир дивизии Горишний привел на передний край военного корреспондента в длинном кожаном реглане, с пухлой полевой сумкой на плече.

– Вот он наш герой, – генерал указал на невысокого сержанта в чиненном-перечиненном обмундировании. – Носков Николай Михайлович, парторг роты! Тот самый!

– Симонов, – протянул руку корреспондент и улыбнулся.

«Ого, тот самый! «Жди меня»! – в свою очередь удивился Носков, переживая за свой неказистый вид. – А я, кулёма, даже сапоги не надраил». Но корреспондент «Красной Звезды» был на войне с самых первых дней, поэтому не ждал, что настоящие герои – это обязательно громылы богатырского телосложения типа «Афанасий восемь на семь»: грудь колесом, с буденновскими усищами, обвешаны медалями и оружием, как рождественские ёлки. Как раз наоборот, таких парадных молодцов на передовой он почти не встречал. И писать ему приходилось про народ попроще, с наружностью вовсе не портретной. Но именно они лупили в хвост и гриву хваленых «сверхчеловеков», вместе с кожей снимали с них европейский лоск, превращая этих «нибелунгов» в жалкие ничтожества – в то, кем они, собственно, и являлись на самом деле.

Поэтому Симонов не заметил ни измазанных окопной глиной ладоней старого солдата, ни вьевшейся в морщины на его лице пороховой гари. Не обратил внимания на прикрывшие дырки от пуль и осколков грубые заплатки, которых не стесняться надо – гордиться ими. Не разглядел замызганной обуви, которую, солдату некогда будет почистить еще, может быть, до самого Берлина. И Носков оценил эту деликатность.

Корреспондент, словно Ленин, приятно картавя, начал задавать вопросы. Но Носков до того стусевался, что ничего толкового ответить не мог – будто язык отнялся. Вместо описания подвигов, сержант вдруг запермячил неразборчивой скороговоркой и стал косноязычно, невпопад подробно рассказывать, как хорошо у него на родине в Прикамье, каких он щук ловил в Очёрском пруду и сколько белых грибов собрал последним перед войной летом на балуевских сколках. В итоге Симонов, вместо подвигов, с его слов записал в блок-

нот только одно более-менее полезное – рецепт ядреной вояцкой самогонки-кумышки.

Конечно, Симонов как человек бывалый сразу раскусил простецкую хитрость Носкова, который ни словом не обмолвился о своем геройстве, зато многое поведал о своих сослуживцах-земляках Фроле Васькине и Павле Чернове, Альберте Кроните и Андрее Топоркове, что, как уверял сержант, куда больше него отличились на днепровских плацдармах. Симонов сам был не хвастлив, поэтому солдатскую скромность уважал и с бестактной настойчивостью, свойственной большинству «акул пера», в душу не лез.

– А ведь у меня мама в Прикамье, – с грустной улыбкой поведал Носкову Константин Михайлович. – В эвакуации – в маленьком зеленом городке, под присмотром милых и добрых людей. Красивая мама моя...

«Эх, добрая ты душа, – с отеческой ласковостью подумал Носков об этом большом и сильном человеке, и таком беззащитном в своей тоске по матери. – Тебе ж, поди, и тридцати-то нет, а по обличью – все пятьдесят. Насмотрелся на наше горе, сердешный, а своё глубоко в душу упрятал. Война, война, война...»

– Утрясется всё! Не переживайте за матушку, товарищ подполковник. Да разве кто посмеет обидеть мать такого сына? – слова старого солдата вывели Симонова из задумчивости, он на прощание благодарно тронул Носкова за плечо и, чадно пыхнув табачным дымом из трубки, скрылся под его завесой в глубине траншеи...

Точное место, где засел пакостный гитлеровский снайперюга, Носков, Халил и Кешка, как ни глядели в шесть глаз, усиленных трофейной цейсовской оптикой, засечь так не су-

мели. Особые надежды сержант возлагал на казаха Халила с его острым зрением степняка-кочевника. По-русски тот говорил плохо, зато был чуть ли не единственным из всего среднеазиатского пополнения, кто не струсил в первом бою. С хищным прищуром, доставшимся ему от далеких предков-чингизидов, Халил спокойно и деловито целился в наступавших немцев, словно по косулям у себя на родине. В то время как многие его соплеменники, увидев, что их товарищи падали мертвыми, бросали оружие, садились по-турецки и, мерно раскачиваясь, причитали над покойниками, не обращая внимания на выстрелы. Носков, сам рискуя быть подстреленным, в рост подбегал к таким бедолагам и кого пинками, кого, как котят за шиворот, пригибал к земле. А потом, как парторг, терпеливо и доходчиво объяснял необученным парням, которые еще недавно запивали кумысом баранину в своих юртах и от паровозного гудка наземь падали, что такое война, зачем они здесь и за что воюют...

– Ну, брат, что видишь? – с надеждой спросил Халила сержант, но тот лишь смущенно оглянулся и пожал плечами.

– Тогда с богом! Каски снять, котелки – прочь, чтоб не брякали, «сидора» – тоже вон! – подал команду Носков...

Рассредоточившись, они поползли в том направлении, откуда прозвучал последний выстрел – медленно, осторожно. Кешка, как мог, копировал ловкие движения Носкова, ужом сновавшего между кочек и мимо трупов убитых снайпером бойцов. Сержант, казалось ему, будто шапку-невидимку надел: вот только секунду назад в трех шагах мелькнула подошва его сапога, а теперь на этом месте пусто – даже трава не примята. Но снайпер, в отличие от Кешки, всё видел и начал постреливать в их сторону – поначалу все больше для острастки.

Вдруг Халил, словно сурок посреди степи, настороженно поднял голову и закричал:

– Коля-агай, сол жерден атылады! Жарқыл! (Дядя Коля, оттуда стреляет. Вспышка!) Башка вижу, там-там!

– Я те дам, башка! Свою бестолковку спрячь. Пригнись, балбес, он же по тебе бьет! – злым и громким шепотом Носков пытался образумить казаха, но тот не унимался.

– Кола-агай, сонда ату (Дядя Коля, туда стреляй)! Ми... – на звонкой ноте оборвался голос Халила, так и не успевшего выучить русский. Снайпер, как всегда, бил без промаха...

– Да что ж ты... Эх, Халил, Халил! – покачал головой Носков, глядя на застывшую фигуру казаха. Увы, в такой позе могут застыть только мертвые...

Догнавший сержанта Кешка тоже хотел посмотреть на Халила, но увидел перед своим носом кулак:

– Чуешь? А-а-а.. Ни за понюшку табаку! Ты еще у меня только попробуй высунуться, молокосос!

– Дядя Коля, а я ведь тоже засёк, откуда снайпер лупит. Он не под кусточком, а чуть в сторонке засел. Во-он там, – Кешка вновь попытался приподняться, но увесистый подзатыльник пришмякнул его к земле. И вовремя – пуля сочно жулькнула в бочажинку в полуметре от Кешкиной головы.

– Я кому сказал – лежать! Да что ж вы делаете со мной, ребятки?.. Так, остаёшься здесь! – принял решение Носков. – Мне одному сподручней. Как управлюсь – поднимусь, а ты дашь ракету.

– А если не управитесь, а, дядя Коля? – забеспокоился Кешка.

– Не управлюсь – значит, не поднимусь...

Носков по-пластунски – от кочки к кочке – подбирался к истрепанному взрывами кусту. С нашей стороны редко и наугад бухала полковая пушчонка, короткими очередями плевался «максим» боевого охранения. Так было уговорено: комполка Маковецкий приказал отвлекать немцев от группы

Носкова беспокоящим огнем. Гитлеровцы лениво ввязывались в перестрелку, отвечая вяло и тоже не прицельно. Носков слышал, как из немецких окопов, наспех опутанных частоколом с колючей проволокой, доносились отрывистые команды офицеров, бряцанье оружия и унылая мелодия губной гармоники. Фрицы ждали новой атаки, а никак не вылазки охотников за своим снайпером. Но сам снайпер знал, что изощренный садизм русские ему не простят и обязательно попытаются найти и наказать. Однако он все равно отказался от подстраховки, на которой настаивало командование: опасался, что не такие опытные, как он сам, дублёры только раньше времени демаскируют его позицию. Поэтому немецкий снайпер предпочитал помощь напарников неодушевленных, которых использовал в качестве приманок: одного он называл Адольф «Мертвая голова», второго – колченогий Йозеф.

В полусгоревшей избе украинского села снайпер нашел подушку-думку, углем нарисовал на ней челку, слегка бесноватые глазки и ставшую модной в рейхе щеточку усов. Натянул на нее солдатскую каску, снятую им с березового креста на воинском кладбище – вот и получился Адольф «Мертвая голова». Мертвая – это потому что голова живая не выдержала бы столько попаданий, сколько пришлось принять бедному «Адольфу». А Йозеф напротив был совсем без головы, как и его прототип Геббельс, – просто набитый соломой мешок, облаченный в мышиного цвета шинель. Зато Йозеф умел передвигаться – снайпер тянул его за веревочку, ожидая, когда на этого «живца» клюнет неосторожный красноармеец.

Бедного Йозефа он потерял утром при минометном обстреле – его клочья разбросало по всей «нейтралке», но успел отомстить за марионетку. Снайпер увидел, как на его поиски выползли трое русских. Двоих он точно убил, но третий словно растворился, и это действовало ему на нервы.

Носков попытался поставить себя на место противника и туго задумался – спрятаться на голой болотистой равнине было попросту негде. Земля вокруг куста была изрыта мелкими воронками – наши мины ложились густо, и вряд ли что живое могло уцелеть. На изломанных сучьях болтались ошметки обмундирования – видимо, кому-то все-таки досталось. Однако в выемке у вывороченного корневища Носков заметил торчащую каску. Давно еще заметил, и с того момента она ни разу не шевельнулась, даже когда вокруг земля кипела от взрывов. Подозрительно...

И тут даже не глазами – кожей «увидел» Носков легкое движение, чуть правее куста словно ветерком по поверхности земли дунуло. Едва заметная кочка с торчащими будылинками слегка приподнялась, и из-под нее дохнуло почти невесомым куржачком пара. Все-таки не выдержал фашист: может, затекла рука, сжимающая цевье винтовки, или букашка настырная заползла под мотню и щекочет.

«Вот глазастый-то! – тепло подумал о Кешке Носков. – Вставил фитиля старому охотнику... И Халил туда же указывал, хотел меня, ворону слепошарую, предупредить».

«Ну, теперь ты мой, голубчик! – Носков осторожно перевернулся на спину, одновременно снимая ППШ. – Автомат – лишняя тяжесть. Пальнуть, конечно, можно, да ведь еще хрен попадешь! А он, собака, не промажет в ответ».

Он полёгал на руке старый финский нож, которым еще в Очёре свеживал убитых волков. Эта финка уже попробовала и человеческой крови – на плацдарме, в рукопашной. Если, конечно, считать фашистов людьми... За голенище сапога Носков по-охотничьи, как учили дед с отцом, запрятал второй нож – черный кинжал с вороненым клинком, который сержант машинально попробовал пальцем. Бритва! Это редкое оружие ему подарил старый знакомец по Свердловску, с которым он когда-то учился на курсах рационализаторов, а те-

перь тот воюет в Уральском добровольческом танковом корпусе.

На одном вдохе, одним броском Носков преодолел расстояние, что отделяло его от снайпера. Немец не успел выстрелить, но хитрым кульбитом вскочил на ноги, словно разорвавшийся снаряд, взвихрив комья земли, жухлую траву и опавшую листву. Когда все опало, перед Носковым, будто чудище из детской страшилки, вырос двухметровый гигант, опутанный балахоном маскхалата, в котором он казался еще шире и громадней.

«Ого, какой верзила – пудов восемь, не меньше! – сержант был неприятно удивлен. – Как он прятаться-то умудрялся, комодище такой?»

Носков с ходу ударил немца финкой в грудь, но тот, выставив локти, отбил атаку. Сержант даже не заметил, как быстро в руке снайпера оказался большой офицерский тесак. Резкий выпад – и теперь уже Носков едва увернулся от смертоносного лезвия. Качнув телом, он исхитрился пнуть носком сапога по кисти: н-на! И тесак отлетел далеко в сторону. Таким приемом Носков когда-то, еще в Гражданскую, во время кулацкого бунта под Оханском, обезоружил пьяного бандита, что исподтишка хотел пырнуть ножом-свинорезом красного продкомиссара. Но тот детина был обыкновенной куражливой деревенщиной, а этот фриц – натасканный убийца. Сержант упустил момент, когда немец, по-бычьи нагнув голову, кинулся на него и, боднув в живот, повалил на землю. Несколько секунд они катались по болотной жиже: сержант был ловчее, но снайпер – в два раза тяжелее, поэтому быстро подмял Носкова под себя и начал душить.

Фриц по самые брови зарос пегой бороденкой, словно барбос свалявшейся шерстью. От него и воняло псиной. А еще тошнее – загаженным сортиром. Снайпер не первые сутки лежал на позиции в полной неподвижности, поэтому нужду справлял прямо под себя. Сержант пытался добраться до

его лица, но пальцы путались и застревали в маскхалате, расшитом какими-то сеточками и тесемками, как в рыбацком бредне. Тогда Носков схватил немца за мизинец и отжал до упора, пока не услышал хруст рвущихся связок. Снайпер закричал от адской боли, однако хватку не ослабил. Наоборот, еще крепче заклепал горло сержанта железной удавкой, помогая всей тяжестью своего могучего тела. Оба разом побагровели от напряжения. Носков обеими руками сцепив фашисту запястья, из последних сил пытался сдержать напор.

Сержант извивался как червяк под сапогом, но вывернуться из-под такой туши нечего было и думать. Он ногами молотил того по загривку, однако немец ударов, казалось, не чувствовал. Носков понимал, что если он освободит одну руку, тяжесть давления на горло мгновенно удвоится, и кадык может просто не выдержать, хрустнуть словно грецкий орех в дверном косяке. Но и дальше изображать из себя Поддубного было рискованно: весовые категории разные – немец намного сильнее и все равно рано или поздно его переборет. Прав был комполка – не окреп еще Носков, чтоб с такими боровыми возиться, да и раны, чувствовал он, открывались одна за одной – швы трескали и кровоточили. Единственный шанс – молниеносно добраться до голенища, где давно жжет икру златоустовская сталь заветного черного ножа...

Немец заверещал еще громче, как бы помогая себе криком. С обеих сторон одновременно загремели частые выстрелы, словно деревенские собаки разноголосым лаем отозвались на ночной шум. Пули засвистели прямо над ними, и снайпер инстинктивно сжался, на мгновение расслабившись. И тогда Носков решился: отдернув руку от запястья, он без замаха ткнул выпрямленными пальцами прямо в глаз немцу, почувствовав, как в глазнице что-то лопнуло и маслянисто потекло по ладони. Снайпер по-волчьи взвыл, а Носков согнул ногу в колене и сумел дотянуться до голенища. Ладная рукоять дарёного ножа словно влилась в ладонь. Носков бо-

ялся, что нож может высклизнуть из липкой руки, поэтому ударил коротко, под ремень. Немец охнул и захрипел, невредимый его глаз едва не вылез из орбиты, но второй удар – прямо в сердце – затуманил взгляд матовым стеклом смертной тоски. Из рта фашиста выбулькнул кровавый пузырь, и тело мертвого снайпера тяжелым зельцем растеклось по Носкову...

Как ни торопился Носков выбраться из-под убитого, это ему сразу не удалось. Сержанта душили приступы кашля: казалось, немец – вот он, мертвее мертвого, но фантомную хватку его рук на своем горле сержант все еще чувствовал остро и явственно...

Носков встал в рост и махнул Кешке шапкой, подавая сигнал. Парень не проспал – красная ракета, по-кошачьи фыркая и шипя, взмыла над равниной.

– Впере-е-ёд! – одновременно с трелью офицерского свистка раздался зычный возглас командира, что через миг утонул в многоголосой лавине беспощадного «Ура-а-а!» поднявшихся в атаку бойцов.

Носков, шатаясь от усталости, брел обратно. По нему не стреляли – фрицам не до него было. Грязный, помятый – будто коровье стадо по нему пробежало, в кровище с ног до головы – тут и своя, и с немца натекло, как с поросюка. Силы оставляли его, поэтому он по земле волочил за ремень трофей – винтовку с оптическим прицелом. На ребре ее приклада он разглядел зарубки. Много зарубок...

Сам Носков своим жертвам счет не вел. За него синодики писали другие: когда к Герою представляли, сорок семь фрицев насчитали только за один бой. А сколько их было, боёв-то...

Носков вспомнил, как на плацдарме он гранатой уничтожил пулеметный расчет вместе с десятком фашистов, за-

севших в тесном блиндаже. А спустя час из трофейного «МГ» сыпанул кинжальной очередью в самую гущу немецких солдат, что скапливались для контратаки, превратив их в гору трупов. А когда эта контратака все-таки началась, и её дорогой ценой отбили, уничтожив всех до одного прорвавшихся в наши окопы гитлеровцев, то вокруг Носкова нашли еще дюжину застреленных, заколотых, зарубленных саперной лопаткой и задушенных голыми руками врагов.

«Вот и пометил гада, – подумал Носков, пряча за голенище нож. – В аду будет помнить такие зарубки. Зададут ему там чертенята в самую патоку – будет знать, как людей почему зря губить и мучить, и других во грех вводить». Ведь убивать людей его – мирного очерского рабочего, в отличие от фашистского снайпера, никто и никогда не учил...

Носков медленно подходил к радостному Кешке, когда спятившие немцы неожиданно перенесли огонь на «нейтралку». «Вилка» минных разрывов неминуемо приближалась к молодому солдату, и сержант из последних сил подбежал к Кешке и закрыл его своим телом. Спину Носкова ожгло будто кипятком из банного ковшика, но он был так помят и истерзан, что не почувствовал пару каких-то жалких осколков.

А вот Кешке досталось: от контузии он тряс головой и что-то бессвязно выстанивал, прижимая руки к ушам.

– Я знал, что ты поднимешься, дядя Коля, – разобрал, наконец, его речь Носков, а Кешка, по-детски всхлипнув, впал в забытье.

– Спи уж, воин! – усмехнулся Носков и, кряхтя, взвалил бойца на свою израненную спину...

Из нашего блиндажа на выручку Носкову бросился сам комполка.

– Михалыч, родной, эх, как тебя опять попятнали-то! Ах ты, господи! Ко второй звездочке представляю! Подумать только – будешь первым в дивизии дважды Героем! – Маковецкий распростёр объятия.

– Да не тискайте вы так меня, товарищ подполковник! Меня уже помикосил один сегодня – до сих пор нутро со всех дыр наружу лезет. – Носков снова натужно закашлялся. – Не меня – вот его награждай, Федор Ефремыч. Если б не Кешка, не засек бы я снайпера...

– Зелен больно для Героя! Его слава еще впереди – такой своё обязательно найдет, – улыбнулся компока, глядя на раскинувшегося в забытьи молодого бойца. – Начштаба, пиши реляцию на «Отвагу». А как фамилия-то у пацана?

– Там не до знакомств было, товарищ подполковник. Смоктунович, кажись, или как-то так, – устало пожал плечами Носков, вздохнул, снял свою взопревшую от солдатского пота шапку и по-отцовски бережно нахлобучил ее на стриженную голову спящего Кешки...

Спустя полвека эту затерявшуюся в коловерти событий медаль торжественно вручали после спектакля на МХАТовской сцене импозантному мужчине с гордой осанкой и в пышном обличье Людовика Четырнадцатого. Народный артист Иннокентий Михайлович Смоктуновский в величии своем ничуть не уступал «Королю-Солнце». Случайно брошенное пророчество комполка сбылось: он нашел свою славу, и слава его тоже нашла...

Никогда еще не слышал Смоктуновский столь оглушительных аплодисментов публики. Держа в руках коробочку с медалью «За Отвагу», великий актер плакал, вспомнив суровую осень 1943 года, когда никому не известного солдата Кешку Смоктуновича на себе вытащил с передовой известный на всю Красную Армию герой Николай Михайлович Носков. И не закрыл бы своим телом – не было б у нас ни Дюймовочки, ни Гамлета, ни Плюшкина...



Герой Советского Союза
Николай Михайлович Носков
(1902–1966)



Сержант Иннокентий Михайлович
Смоктунович (1925–1994)



Федор Ефремович Маковецкий,
комполка 75 гв. сд



Народный артист СССР
И. М. Смоктуновский в роли
лейтенанта Фарбера
(к/ф «Солдаты», 1956 г.)



Сын полка Арон Верницкий с Героями 75 гв. сд. Крайний слева — уроженец Юрлинского района Коми-округа А. Д. Топорков, крайний справа Н. М. Носков



Корреспондент К. М. Симонов (в центре) с командованием 75-й гвардейской стрелковой дивизии В. А. Горишним и И. А. Власенко



Н. М. Носков - депутат очерского горсовета со своими земляками



Н. М. Носков с братьями (фото из архива
Бориса Александровича Носкова)

ПЕПКА И ПИКУШКА

Комвзвода разведки самоходного артполка 19-го Перекопского Краснознаменного танкового корпуса старший лейтенант Михаил Шардаков прямо из-под носа у фашистов добыл важные документы. Даже не совсем добыл, а, прямо скажем – украл! Во время разведки боем его самоходка стремительным броском ворвалась в расположение противника. Фрицы из окопов разбежались, а Михаил спрыгнул с брони и заскочил в штабной блиндаж. Там, как и в траншеях, тоже никого не было, но на столике еда была еще горячей и сигарета недокуренная в пепельнице дымилась. А рядом – множество разных документов навалом. Михаил мигом похватал все, что успел: карты – топографические и порнографические, затёртые, игральные; донесения, письма, пакеты. В разведотделе корпуса разобрали этот ворох бумаг и представили Михаила к ордену – очень уж ценными были сведения...

Обмывая с бойцами награду, взводный уже в десятый раз на «Бис!» рассказывал им, как это он умудрился в самое логово фрицев проникнуть и да еще и ноги унести.

– Вам бы, Михал Петрович, налётчиком в у нас в Ставках или на Госпитальной работать, – блеснул золотым зубом храбрый одессит Илюша Ливада. – Навык на гоп-стоп дюже справный имеее...

– И у нас на Лиговке цены б вам не было, – поддержал друга ленинградец Масалкин, что на войну прямо из «Крестов» ушёл. «Медвежатником» был он, правда не по Топтыгиным специализировался, а по сейфам. Лихие, что и говорить, сорвиголовы служили в разведке...

– Это что, ребята! Вот брательник мой младший, Пепка, в Гражданскую у белых из штаба пулемёт спёр!

– Неужели пулемёт? «Максим»? – удивлялись однополчане.

– Нет, станкач ему тогда было с места не сдвинуть – кишка тонка. Даже вдвоём с Пикушкой. «Льюис»!

– «Льюис» – тоже добрая машинка. А с каким-таким Пикушкой?

– Да тёзка его – друг его закадычный. Они на пару в моем родном Очёре шустрили. Шалопай такие были, что мамы свои деткам с ними играть строго воспрещали. А уж белым они столько напакостили, что за их поимку коровой, поросенком и деньгами в придачу колчаковцы сулились расплатиться. Только не нашлось в поселке подлецов...

– Это как в «Юнармии»? До войны читал книжку...

– В соплармии! Ведь чуть больше десяти годов пострелятам было – шутка ли! – воскликнул Михаил и начал свой рассказ: – Дело-то вот как было...

В мае 1919 года Очёр был еще под Колчаком. Беляки разнузданно вели себя в поселке: расстреливали рабочих, насмерть запарывали шомполами сочувствующих Советской власти, грабили население. На Набережной улице, рядом с домом, где жил Пепка, у белых располагались что-то вроде штаба с цейхгаузом, где хранилось разное оружие и куда свозилось реквизированное у очёрцев имущество.

Однажды белогвардейские офицеры сильно напились в честь какого-то праздника и решили устроить салют. Они начали палить из наганов в воздух и по пустым бутылкам, оглашая окрестности дурным хохотом. А один прапорщик выволок из цейхгауза новенький ручной пулемёт «Льюис» и, увидав на заборе кошку, стал строчить по ней длинными очередями. Пулемёт, словно гигантский налим, тряся, извивался и рвался из рук вусмерть пьяного офицера. Его собутыльники в страхе, что их запросто может задеть шальными пу-

лями, поспешили отобрать у него оружие. В итоге: новый дощатый забор — в решето, цветущие яблони да черемухи безжалостно посекло, беспечные куры под обстрел попали, и даже в собаку срикошетило, что мирно дремала в конуре. А вот кошка улизнула...

А Пепка с Пикушкой — ни живы, ни мертвы — как раз в щель заборную подглядывали, по которой стрелял колчаковский прапорщик. Как только залечь успели?

— Представляешь, Пикушка, если по красным вот эдак-то вжарят? — рассердился Пепка. Его брат Коля воевал где-то рядом, в войске у Блюхера. Он в страхе зажмурился, представив, как жгучий свинец рвёт на груди гимнастерку его любимого братца.

— Да-а, Пепка — худо дело! — Пикушка был зол на колчаковцев ничуть не меньше. В марте они вошли в Очёр и первым делом по указке врача Томашевича вытащили из палаты метавшегося в беспамятстве от тифа Пикушкиного дядю и расстреляли прямо во дворе больницы. Долго его поруганное тело валялось в Поганом логу вместе с трупами других коммунистов, замученных лютыми беляками — родственникам под страхом смерти не разрешали похоронить их честь по чести. Так что ждали ребятишки скорейшего наступления Красной Армии с большим нетерпением...

Решение пришло мгновенно. Пока пьяные офицеры ушли на берег пруда, чтоб поглазеть на баб, что на мостках бельё полоскали, Пепка и Пикушка, словно кузнечики, перемахнули через забор, схватили неостывший еще пулемёт и огородами потащили его прочь.

— Тяжелая трубень! — пыхтел Пепка.

— И патронов много! Вот красные бойцы обрадуются! — радовался Пикушка. — Может, и нас в свою армию примут?

Парни решили спрятать пулемёт под перевернутую лодку на берегу пруда, а потом вручить его первому красноармейцу, что войдёт в освобожденный Очёр. Но их планам по-

мешал Пепкин отец. Он видел, что натворили ребята, проследил за ними, ночью вытащил пулемет из-под лодки и забросил его далеко в омут, что на Девичьей ямке. Колчаковцы-то безжалостно расстреливали тех, у кого находили оружие...

– Зря, выходит, старались, пацанчики, – пожалел Ливада.

– Ха! Щас! – загадочно улыбнулся Михаил. – Пепку-то так просто не проведешь! Он, пострел, за бате́й дозыривал и заметил место, где тот пулемет утопил. Перед тем, как красные в Очёр вошли, понырял там и достал его со дна.

– А белые что – так и спустили всё на тормозах?

– Переполох устроили на весь посёлок! Избили лавочника, у которого на постое квартировали, и под арест его в холодную бросили. Сами офицеры едва не передрались да не перестреляли друг дружку. А наутро всыпали ни в чем не повинному денщику пятьдесят горячих – дескать, не доглядел. Батя ходил да посмеивался. Ну а Пепке не до смеха было: сидеть больно – ему-то тоже ремня досталось. Но отец не сильно бил, а больше для порядка – он ведь тоже, как-никак, за красных был...

А как красные вернулись, выдал им Пепка пулемет со всей полагающейся торжественностью. В армию их с Пикушкой по малолетству, конечно, не взяли, но со всей душой благодарили. Наградили Пепку всамделишной красной звездочкой – с плугом и молотом, что на фуражках тогда носили, сахару дали кусок замусоленный да еще патрон винтовочный. Но от патрона Пепка презрительно отказался: я, говорит, у беляков их целый чугунок наворовал...

– Во даёт! – рассмеялись разведчики. – А где сейчас Пепка?

– Как это – где? Воюет, конечно, Пётр Петрович. В истребительном противотанковом дивизионе. «За Отвагу», пишет, недавно вручили.

– А Пикушка?

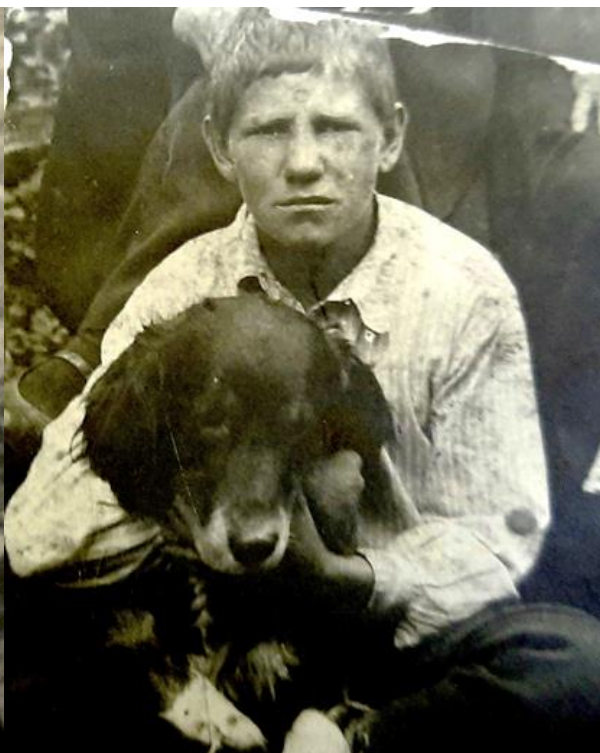
– Он теперь не Пикушка, а Петр Иванович Пискарев! Подполковник в 76-й Гвардейской, что в соседях у нас. Герой – вся грудь в орденах!

Михаил улыбнулся, вспомнив проказы неразлучных друзей Пепки и Пикушки, что так грезили службой в Красной Армии, и чья мечта в полной мере осуществилась...

– Да-а, пожалуй, в этом вашем Очере побойчее хлопцы, чем у нас в Одессе, – задумался Илья Ливада. – Туго от таких парней фашистам приходится! Гораздо хуже, чем белым...



Петр Иванович
Пискарев («Пикушка»)



Петр Петрович
Шардаков («Пепка»)

ЛЫЖНЮ!

– Бакилина? Бакилина где, я спрашиваю? Бакилина-а-а?!

Из приоткрытой двери смотрового кабинета уже больше минуты раздавался нетерпеливый зов. Не дождавшись ответа, вышла сердитая медсестра и, хмуря брови, строго оглядела тесные ряды больных, стоя и сидя расположившихся вдоль грязно-синих стен коридора.

– Ой, это нас! Сейчас-сейчас! Алечка, милая, просыпайся! – пожилая женщина в сером платке бережно приподняла со своих коленей голову худющей девчушки лет десяти-одиннадцати. С трудом встала со скамьи, поморщилась, прижимая ладонь к давно ноющей пояснице, взяла девочку за руку, и они медленно потянулись к двери.

– Бакилина, проходи! А вы, мамаша, останьтесь, сейчас к вам доктор выйдет.

– Да не дойдет она сама-то...

– Ничего-ничего, я помогу! – медсестра уверенно приобняла за вялые плечи пошатнувшуюся было девочку и ввела в кабинет.

Женщина, распахнув платок, без сил опустилась на лавку. Через минуту к ней вышла доктор с шелестящим веером бумаг в руках, озабоченно потерла подбородок и, отведя взгляд в сторону, негромко проговорила:

– Крепитесь, мамаша! Анализы плохие – туберкулез. Тяжелая форма, неизлечимая – обнадеживать не стану, не имею права... Не выживет – уж больно слаба девочка.

– Бабкой я ей прихожусь, а мать на работе в две смены – с завода не выходит. Вот и Алечка при ней учеником была –

на соседнем станке токарила, бомбы или еще каку-то страсть точила для фронта. Да видать застудилась — в цехах уж шибко студёно. Неужто никак ей помочь нельзя? Молодая ведь, бог даст, может, выдюжит?

И столько мольбы было в ее голосе, столько надежды... Но врач с искобленным страданиями сердцем, повидавшая столько смертей, что не приведи всевышний, на надежду уповала в самую последнюю очередь:

— Мужиков здоровых — кровь с молоком — в бараний рог за неделю скручивает, а тут доходяжка такая, что без слёз и не взглянешь... Мы, конечно, сделаем всё возможное. Но сами должны понять, что возможностей-то у нас — шиш да кумыш. Война! Лекарств нет! Вот, добьем немцев, тогда... Эх, только не доживет ваша Аля до Победы. Бедняжка...

А до Победы оставалось совсем чуть-чуть — шел февраль 1945-го. Всё кругом на свете говорило о её неотвратимой близости: улыбки, что вновь замелькали на изможденных лицах павловчан. Эвакуированные уезжали по родным местам, чтобы дома встретить своих отцов и сыновей, которые вот-вот возвратятся с фронта. Выздоровливавшие в госпиталях солдаты уже без опаски за свои судьбы писали письма родным, дескать, всё — теперь-то уж точно вернусь, ждите...

Даже рёв заводского гудка не был похож на завывание сирены воздушной тревоги, и в его звуке люди отчетливо слышали: «Победи-и-и-и-им!» Вот только рёв из домов, куда всё еще приходили похоронки, оставался нечеловечески страшным...

Алю перевели в другую палату — в дальний конец коридора, отгороженный ширмой, словно вратами чистилища. Своими ногами ей бы ни за что не пройти эти тридцать или сорок метров. Пожилая санитарка, которая сама шаталась от

голода и усталости, на руках перенесла девочку. Следом с тощим узелком в руках понуро брела бабушка. Люди, видя эту процессию, отворачивались, сочувственно качали головами. Из-под серого одеяла, в которое была закутана Аля, выставлялись тоненькие, как тростинки, ножки.

И все понимали, куда ее несут... Старушка в конце очереди напоследок перекрестила девочку: «Такую-то пушинку всё легче ангелам до неба донести!»

На койках палаты для безнадежных в недвижных позах лежали люди, и уже трудно было понять – мужчины это или женщины, молодые или старики. Ни криков боли, ни стонов – всё давно перемучено, выплакано. Даже дыхания не было слышно, и только по ночам легким ветерком грезились вкрадчиво тихие шаги смерти, которую в этой палате никто уже не боялся: наоборот, костлявая дама с косой казалась им прекрасной доброй феей-избавительницей.

А по утрам приходила нянечка и накрывала лица тех, кого навестила эта «фея», белыми простынями.

Несколько раз приближалась она и к Але, с ласковой лукавостью звала с собой, но девочка шептала в бреду:

– Уйди! Господи, неужели, только я одна вижу, что никакая ты не фея!

– Не веришь в меня, пионерочка? Ну-ну! – лишь усмехалась та и исчезала в ночи.

Единственным спасением для умирающей Али было усиленное питание, но врачи даже формально прописать его стеснялись – где ж его возьмешь?!

Отец убит подо Ржевом. «В безымянном болоте, пятой роте, на левом, при жестоком налёте», как напишет потом Твардовский. Девять ртов осиротил, и мать, раздавленная вдовьей долей, которая и так в самом малом и необходимом себе отказывала, просто не знала, чем еще помочь. Если надо,

она и от своего тела бы кусок отрезала ради умирающей дочки, но вот беда: Аля-то и не ест ничего – не может. Организм даже воду не принимает – всё обратно. Бабушка, с трудом разомкнув Але зубы, едва пол-ложечки бульона в день вливала в нее. Аля угасала прямо на глазах...

Узнав про беду с девочкой, однажды к Бакилиным заглянул старик-сосед. Из поношенного вещмешка он достал полковриги хлеба, бутыл с молоком и жутко вонявшую каким-то незнакомым нутряным запахом корчажку.

– Фу-у, что за вонишшу приволок, дедушка?

– Не воротите нос-от – это полезительная штука! Сало барсучиное, натуральное, враз Алечку на ножки поставит!

Старик был знатным рыбаком-охотником, поэтому в войну не так бедовал – рыбка да убоинка выручала. Ставил капканы на барсуков в дальних урочищах за Комендатами и Билимбаихой, топил из них сало, которым и пользовал всех болящих.

– Исти такую гадость – оно, конечно, врагу не пожелаешь. Тут привычка требуется. Ты вот что, соседушка, послушай: ложкой вот стокмо черпни, да два раза в день скармливай Алечке. Рот-от ей рукой зажимай, а то стошнит – и без пользы продукт уйдет. Плачет пусть, давится – а проглотить должна! Хоть обманом, хоть силой заставь...

Две недели не отходя от Алиной койки, под скептические взгляды докторов бабушка выполняла иезуитские указания нежданного лекаря. Слезы ручьем текли, а сердце кровью обливалось, но когда на щеках у Али проступил румянец и кашель будто стал жиже, а дыхание не напоминало уже предсмертные всхрипы, даже суровая врачиха поверила, что порой вековая сила народного милосердия бывает сильнее науки и божьего промысла...

– Бабушка, мне бы хлебца, – тронула Аля ее руку и впервые за долгое время улыбнулась.

А ночью в последний раз пришла к Але «фея» – без привычной косы и совсем не страшная:

– Сильная ты, пионерочка! Похоже, до-олго я к тебе еще не приду! И слово свое сдержала...

– Бакилина? Бакилина где, я спрашиваю? Бакилина-а-а?!

Аля слышала трубный рокот судейского рупора, но ей так не хотелось выходить на мороз из сени уютного тепла. Физрук Павловской «ремеслухи», высокий и сильный парень с орденом Красной Звезды на груди, тряхнул ее за плечо:

– Аля, пора на старт!

Вся эстафетная команда Очёрского района – три маленьких девчушки в мешком сидящих на них лыжных костюмах – уместилась под полами его длиннющей кавалеристской шинели. Прижались к нему, словно котята к печке, вдыхая табачный аромат вперемишку с так и не выветрившимся из военной гимнастерки госпитальным запахом.

Фигура физрука непокорным памятником высилась на ветру, оберегая своих продрогших подопечных. Колючая, злая метель-позёмка заметала лыжню. Редкие зрители, нахохлившись, разместились на динамовских трибунах, согревались, кто чем мог: чаем из аппетитно дымящихся термосов или чем покрепче из не менее аппетитных изапазушных фанфуриков. Первый послевоенный чемпионат Прикамья по лыжным гонкам – это ведь не только спорт, это своеобразный смотр, как люди пережили военное лихолетье, есть ли у обездоленных детишек силы бежать на лыжах. Да есть ли вообще какие-то силы...

Алю физрук поставил на первый этап. Хоть и меньше, и тоньше была своих подруг – чистая пигалица, но на лыжне ей в районе равных не было. И кто бы мог подумать, что всего

лишь несколько месяцев назад девочка лёжкой лежала – при смерти, без надежды, почти обеими ногами на том свете...

Но та самая строгая врачиха, которая не верила в выздоровление Али, выбила для нее путевку в крымский санаторий, только-только освобожденный от немцев. До самого секретаря обкома Гусарова дошла – просила и ругалась, льстила и стыдила на чем свет стоит бездушных бюрократов. Николай Иванович, выслушав ее историю, крепко матюгнулся в сердцах и тут же отдал распоряжение – единственная на всю Молотовскую область путевка досталась Але. Ох и крут был Гусаров – боялось его крапивное семя пуще самого Сталина...

Два месяца на морском воздухе спасли Алю и преобразили. «Девонька, да ты здорова!» – удивилась и всплакнула врачиха. Едва выпал первый снег, Аля уже встала на лыжи и бегала каждый день по шесть километров – до училища и обратно. Физрук как раз сколачивал команду на районные соревнования. Недобор был жуткий, дети за войну вообще забыли, что такое лыжи: кто у станков стоял, кто в поле работал – до забав ли? А тут увидал Алю и ахнул: стремительно катящийся комок, будто зайчишка через поле стремглав несется, палки деревянные вразброс – ну никакой техники! Зато энергия – снег под лыжами тает!

Районные состязания Аля выиграла, даже не заметив соперниц. «Хоп-хоп-хоп!» – ее голос с требованием освободить лыжню звонким эхом разлетался по сосновому бору в Очёре. Но вот теперь испытание куда как серьезнее: на областных гонках легкой жизни не жди...

После старта Аля старалась в самую гущу не лезть, а то заторкают еще, затолкают, девчата-то городские уж больно бойкие – надо думать, сытнее им жилось. Но через пару минут ей стало скучно плестись в хвосте, наступая на лыжи соперницам.

– Хоп-хоп-хоп! – и до чего же нравился ей этот озорной возглас, которому физрук научил. И вот все – одна за одной – девчонки расступились, и Аля, обдав их вихрем снежной пыли, вырвалась далеко вперед.

Эстафету она передала первой – за ее спиной никого и близко не было. Пихнула в плечо свою подружку Люсю, подарив ей такой отрыв, что хоть пешком иди. И – мигом под шинель к физруку, греться. Дубарина-то под минус двадцать! А во внутренних карманах шинели уже нагрелись три пирожка-посикунчика да шкалик с молоком, коими запасся физрук для подкрепления своих вечно голодных подопечных. А вот на себя провизию не захватил, убедительно заливая девчонкам, что от стряпни да молока у него, дескать, изжога, поэтому, по фронтовой привычке, насыщался махорочным дымком, будто святым духом...

Дружно притоптывая на лютеющем морозе, очерская команда ждала финиша второго этапа. Физрук пристально вглядывался вдаль, стараясь угадать впереди бегущих Люсю, но... Первой под «Ура! Давай! Вперед!» и бодрящий свист домашней публики, пробежала опытная «динамовка». Сразу за лидером – стройная студенточка из педвуза. Следом – кунгурская, кудымкарская, оханская девчата, а вот и толстушка румяная, с Барды или Орды, едва-едва пыхтит, но катится. «А где же наша-то? – похолодело в сердце у физрука. – Никак упала, бедная? Или лыжу поломала, а запасных-то нет». Он хотел уже бежать вдоль трассы на розыски потеряшки, но тут из-за поворота, наконец, показалась Люся. Часто дыша, как загнанная собачонка, она с трудом передвигала ноги, ее лыжи не скользили, а, казалось, висели кандалными веригами. Коленки и бока в снегу – значит, падала Люся, падала часто...

Дерзкий план созрел мгновенно, как в самые отчаянные минуты на фронте – где наша не пропадала.

– Выручай, Бакилина! – растолкал полусонную Алю физрук. – Валюшка еще слабее, чем Люся, не одолеть ей три версты нипочём. Глянь, она от голода совсем сомлела. Спроворишь еще один этап проскакать, а? Да хоть пешком пройди. Надо, понимаешь, Алечка? Очень надо – не можем мы район подвести...

– А не заругают? – смышленная Аля с полуслова поняла задумку наставника.

– Да никто и не заметит, – физрук почувствовал ее колебания. – Соберись, Аля! Это как на войне: представь, что ранило твою подружку, и никто кроме тебя задачу не выполнит. И вообще, по правилам, в исключительных случаях имеем право на замену. А таковой наш случай или нет, после финиша разберемся: не переживай – я за все в ответе. Бульки вот молочка и дуй!

– Лучше Валюшку покормите, – кивнула Аля на обессиленную подружку и стала надевать лыжи.

Как только Люся доковыляла до финиша, Аля выпорхнула из-под шинели, словно воробей из-под стрехи, и кинулась вдогонку за убегающими соперницами. В висках молотом стучали слова наставника: «Это как на войне, Аля! Надо!» Но ее не надо было агитировать – она сама была дитя войны. Ускоряясь на спусках, Аля представляла, как, не кланяясь пулям, шел в свою последнюю атаку отец. Стиснув зубы на подъемах, она видела мать, которая, оттрубив две смены в цеху, оставалась на третью. И все, кого она знала, так жили. Потому что – надо! И когда, казалось, Аля была готова рухнуть от усталости, а под ложечкой колело так, будто бокштыком пропороли, у нее открылось второе дыхание.

Мимо соперниц Аля пролетала, словно поезд мимо придорожных столбов.

– Одна, вторая, третья, – она считала их, будто патроны в обойме, боясь просчитаться и не успеть догнать последнюю.

– Десять! – когда Аля увидела перед собой спину лидера, у нее уже мутилось и плыло красным в глазах, а ресницы слипались от инея.

– Хоп-хоп-хоп! Лыжню! – прямо в финишном створе, как чертик из табакерки, Аля выскочила вперед и на поллыжи быстрее всех нырнула за финишную черту...

Наставник проигравшей команды, краснощекий дядька в овчинном тулупе и круглых очках, издали – вылитый Берия, торопился к судейскому столику. Он уже на ходу гневно выкрикивал:

– Э-э! Что за дела? Товарищ судья, эта девчонка уже бежала на первом этапе! Я все видел! Это недопустимо. Я ее запомнил по штанам – такие шаровары, как у запорожца, ни с чем не спутаешь. Снять – и вся недолга!

– Что снять? Штаны?! – опешил судья.

– Да не-ет, зачем штаны! Очёрских полагается снять с соревнований – дис-плас, да как его, дьявола... А – дисклопировать! Вот! Занесите в протокол!

– Дисквалифицировать, – машинально поправил арбитр.
– Но за что, не пойму? Какие основания?

– Еще раз объясню, товарищ судья. Вон та, хе-хе, в штанишках которая, два этапа пробежала! – дядька, блеснув стеклами очков, повернулся к Але и погрозил ей пальцем-сосиской. – Ишь, оч-чёрские! Знаю я вас, прохиндеев! Три года назад возил туда сахар продавать, так там надули меня на базаре и общептали вдобавок – прямо с возу из валенка кошелек с выручкой схрюндили.

До поры помалкивавший физрук, расстегнул шинель, чтобы были видны орден и нашивки за ранения, и смело шагнул прямо на дядьку:

– Эй вы, товарищ очкарик, что-то уж больно подозрительно хорошо вы в девчачьих штанишках разбираетесь! Давно подобный интерес имеете?

Оглушенный громким смехом собравшихся вокруг тренеров, толстяк затравленно озирался.

– Пока ты сахарком спекулировал, на горе людском наживался, её батяка на фронте голову сложил. Обшептали его, видите ли, барыгу! Скажи спасибо, что по харе разъевшейся не наклали...

– Привлеку за оскорбление! Тут все свидетели, – дядька с надеждой искал сочувствия, но все от него брезгливо отворачивались.

Главный судья устал слушать перебранку, он сонно глянул на Алё и покачал головой:

– Что вы мне тут голову морочите? Такой шкилетье шесть километров да еще и с областным рекордом ни за что не пробежать! Согласны, товарищи? Так что победил Очерский район!

– Я буду подавать протест! Тут всё подкуплено! Я этого так не оставлю! – не сдавался дядька.

– Протесты свои можете засунуть в... хм-хм, в общем, сами догадываетесь, куда – в валенок с выручкой! – судья сам воевал, поэтому терпеть ненавидел таких маклаков-«купи-продаев». – Не позорьтесь, товарищ очк... Тьфу, забыл, как вас там... Не на базаре! Умейте проигрывать, – и, снова взглянув на Алё, заговорщически ей подмигнул. – Бегом на награждение! Девочка в штанах...

– Девчули, гляньте-ка, какой-то модник нашу Алечку шарами так прямо и ест! Ручкой в замшевой перчаточке по-ма-ахивает, бровки домиком строит. Такой ути-путичный весь, как с картинки...

– Да ты что, газет не читаешь? Это ж миллионер известный – Ади Дасслер. Он всех здешних спортсменов одевает, поэтому денег у него – большие тыщи! И золота-брильянтов – куры не клюют!

– Сразу видать, разбирается в брильянтах-то, коли в Алечку втюрился! А газеты я всегда читаю. Вы только послушайте, что пишут, черти: «Упругий изящный шаг, точеная фигурка, струящиеся из-под шапочки, летящие по ветру густые русые волосы. Русская богиня!» И это, понимаешь, опять про Альку, а про нас, девки, снова ни словечка!

– А еще этот дылда из шведской сборной, помните? Рыбглазый такой? Встал перед ней столбом и гав-гав-гав что-то там на своём. Таким языком только расстрелом командовать, а он в любви изъясняется! То ли дело итальянчики: глазенки с поволокой, что у мартовских котов на завалинке, а тараторят – заслушаешься: ти-ти-ти, тра-ля-ля, белла мия, три рубля...

– А французик-то, ха-ха-ха? Алечку на тренировке увидал, рот раскрыл – ворона залетит, прихорошился, петушком-франтиком таким за ней побежал. И не догна-а-ал! Аха-ха-ха! Весь взопрел, язык вывалил, лыжник хренов.

– Ха-ха-ха! Ой, мамочки, уморили...

Аля краснела и бледнела, пока подруги по олимпийской сборной СССР подтрунивали над ней – беззлобно и беззавидно. Уютный ресторанчик старого альпийского отеля давно не слышал такого веселого смеха.

– Да ну вас, сороки-трещотки! Одни парни на уме!

– Ой, да она Пашку своего ни на кого не променяет! За что его полюбила-то, Аль? Ну скажи-и...

– Да сто раз говорено было – вот пристали, шептуньи!

– Ну, А-а-аль! Расскажи еще разик, у тебя что, язык отстегнётся?

– За кисточку полюбила...

Смешливые девчата снова грохнули заразительным хохотом, что горохом рассыпался по фойе, по этажам, по коридорам, всполошив, наверное, всех обитателей Олимпийской деревни.

– Ха-ха-ха!

– За что, за что-о? За кисточку?

– Это в каком таком месте у твоего Пашки кисточка болтается? Может, и нам дашь подержаться?

– Ой, и бесстыдницы же вы! Совсем не совестно? – Аля резко вскочила, топнула ножкой и, расставив руки неводом, бросилась на подружек. – Ну, теперь держитесь, шлёндыры полоротые!

Девчата с визгом кинулись наутёк, расталкивая с пути достопочтенных постояльцев, не привыкших к такой простодушной непосредственности. А те оглядывались и не по-европейски искренне улыбались, думая о том, какие красивые, добрые и чистые люди – эти русские девчонки. Именно такие же юные и славные, только уже мальчишки, не с олимпийскими, а с боевыми медалями на груди, когда-то освободили Австрию от нацистского позора, яд которого распустил по миру их бесноватый соотечественник.

– Я покажу вам кисточку! – со смехом неслась в погоню Аля, и ее густые волосы действительно, как и описывал бойкий газетчик, разлетались русыми волнами...

Однажды на тренировочных сборах Аля увидела ладного парня, который несся по лыжне, словно метеор. Но вовсе

не он поначалу привлек ее внимание, а... кисточка на его спортивной шапке, что задорно подпрыгивала в такт размашистых шагов. Лыжник резвой ёлочкой взобрался на тягун, оглянулся и подмигнул Але.

Через два месяца они сыграли свадьбу, и молодой муж Павел Колчин долго потом шутил: «А если б я без кисточки шапку надел? Так бы и прошла мимо счастья?»

С тех пор супруги были неразлучны – и в жизни, и на лыжне. Павел был Але ровесником, но казался старше, опытей: шутка ли – он первым в истории советского спорта завоевал олимпийскую медаль. Колчин взялся тренировать супругу, не давая ей никаких поблажек, гонял до седьмого пота наравне с мужчинами. И когда Алю позвали в сборную СССР, тренеры поражались ее неутомимой энергии и трудоспособности. Никак не вязались эти качества с ее миниатюрной фигуркой, как у манекенщицы из дома моделей.

Победы пришли скоро – сначала в стране, затем на мировых чемпионатах. А вот на Олимпиадах Але фантастически не везло, будто сглазил кто или порчу навел, в чем были просто уверены знакомые старушки в родном Павловске. Местные «бабки-ёжки», узнав из газет о бедах своей землячки, тайно и артельно собирались колдовать, чтобы ядреной уральской ворожбой отогнать от Али иноземную нечистую силу. Шептали, поплёвывали, варили в чугунках разные чудодейственные, а потому очень уж вонькие снадобья, по сто раз хором подряд повторяли магические абракадабры: *«Все порчены, в ступах толчены, сатанинские губы да двоезубы, девки косматы, женки волосаты, стары старики да охальны мужики. Сгинь-провались, поди прочь бусурманска сила!»*

Но, видимо, насчет лыж кудесники еще не придумали заветных заклинаний, и Алю продолжали преследовать потусторонние напасти. Так, в Италии Павел по доброте душевной взялся смазывать ее любимые – «чемпионские» – лыжи прямо перед гонкой, но, видимо, переусердствовал, не рассчитал

силенок, и одна лыжа предательски треснула. «Дурная примета – лучше б я ногу сломала!» – расстроилась Аля. Это сейчас спортсмены возят за собой полные баулы разной экипировки, а тогда... Две пары лыж – любимая и нелюбимая. А на нелюбимой какие уж могут быть медали...

В Гренобле Аля уверенно шла к победе, пока за километр до финиша на трассу невесть откуда не сверзился... огромный снежный ком. Она со всего разгона вцепилась в этот катыш – только лыжи с палками торчком в разные стороны! Хоть снеговик лепи! Иностранцы – в смех, а Аля – в слёзы. День и ночь проплакала, на подушке сухого места не осталось...

И тут, в тирольских Альпах, дикая свистопляска продолжилась. На десятикилометровой дистанции Аля почти минуту везла ближайшей сопернице: до золотого пьедестала – рукой подать! Она уже представляла, как в ее честь играет гимн Советского Союза, мурашками ощутила всю торжественность момента, но... Пошла на обгон дебелой норвежки, упитанным курдюком всю лыжню заслонившей, и та острием своей палки, словно пикой, тыкнула точнёхонько в крепление Алиной лыжи. Лыжа, «почувяв» неожиданную свободу, все быстрее и быстрее покатила с кручи и скоро пропала из вида. Вроде и случайно, невзначай получилось, норвежка на бегу «Сорри, Сорри!» прокричала, но метров через двадцать оглянулась, оскалившись злорадной улыбкой. Значит, все-таки специально ткнула... Наш парень из команды двоеборцев первым подбежал к растерявшейся Але и отдал свою лыжу – длиннющую, несмазанную: доска заборная, а не лыжа! До финиша Аля кое-как на ней доковыляла, но «золото» – опять мимо кассы...

В общем, тридцать три несчастья с гаком... После таких мистических пролётов впору было лыжи через колено изломать, а палки старикам на клюки раздать. Лыжный костюм только оставить, чтоб картошку в нем окучивать...

Но Але в жизни довелось перемогать и более горькие потрясения. И не стоит забывать, что родилась-то она не где-нибудь, а в Прикамье. На божий свет там появляются люди особой породы, закаленной лютыми морозами, прокопченной жаром горячих заводских цехов. Дышат они живительным воздухом камской вольницы и каждый день переступают через трудности, часто вовсе их не замечая.

Маннами небесными судьба их не одаривала, зато дала недюжинную силу, сноровку-выручайку и удивительную способность к терпеливому труду. Там, где и лошадь бы пала, и трактор заглох, Алины предки горы сворачивали. Поэтому всё, что надо, пермяки, засучив рукава и поплевав на ладони, берут от жизни сами.

Однажды прямо перед чемпионатом мира Аля и две ее подруги по команде друг за другом родили первенцев и привезли их на сборы – оставить не с кем было. Во время тренировок они то и дело отлучались то на кормление, то на рёв своих чад бежали, доводя тренерский штаб до белого каления.

– Тут важнейшие старты на носу, а вы что – «уж, замуж, невтерпёж»?! Мне спортсменки нужны, чемпионки, а не бабы-родихи, – разорялся начальник команды. – Я вам покажу декреты! Как хотите, а титькаться да пеленки зассяные развешивать я вам тут не позволю. Хоть в речке топите свое потомство! Никакого спуска, ни одной поблажки не дам – вот увидите. А не нравится – катитесь колбаской на все четыре стороны! Отправляйтесь в свои Мышьенорски и Большие Задыры – будете там на первенствах колхоза за почетные грамоты да за шаньги с навозных куч на лыжах съезжать. А мы сознательных девчат наберем, на вас свет клином не сошелся. Очередь в сборную – длинней, чем в мавзолей к Ленину и Сталину!

От испуга и изнурительных тренировок, которые, как и было посулено, свалились на лыжниц, у двух молодых мам пропало молоко.

Но только не у Али, которая, продолжая, как ни в чем не бывало, бегать, прыгать и потеть на тренажерах, между делом сумела выкормить сразу троих малюток: своего Феденьку и двоих подружкиных.

А потом выиграла тот чемпионат!

– Колчина? Колчина-а-а?!

Аля, сосредоточенная и отрешенная от мира сего, готовилась к старту на олимпийской эстафете, до которого оставались считанные минуты. Опираясь на палки, она туда-сюда раскатывала лыжи. На трибунах неистовствовали болельщики: пели, кричали, дудели, топали, барабанили, тархтели трещотками. Шум был привычный – соревновательный, поэтому Аля не сразу расслышала, что кто-то ее настойчиво зовет. Она очнулась, только когда сквозь разноязыкую многоголосицу продралось до боли знакомое и родное:

– Да Бакилина же, ёлки зелёные, куда ты запропастилась?!

Ее девичью фамилию помнил только один человек – любимый муж. Аля обернулась и увидела, как Павел, ловко и галантно маневрируя между спортсменками, быстрым шагом подходил к стартовой линии. «Что же случилось?» – недоумевала Аля.

Судья на старте, заметив непрошеного гостя, запротестовал было, но Павел, лучезарно улыбаясь, отсалютовал ему сжатым по-рот-фронтovski кулаком.

– Айн момен! Пардон! Мискузи! – блеснул он «полиглотством» и деликатно отодвинул в сторону руку судьи со

стартовым пистолетом. – Нихът шиссен! Я щас, товарищ... тьфу ты – герр судья!

Павел подбежал к растерявшейся Але, сорвал с ее головы шапочку и тут же надел свою – ту самую, с кисточкой. Он взял ее за щеки и притянул к своим губам:

– Я люблю тебя, Аля Колчина!

Весь стадион, наблюдая эту сценку, грохнул аплодисментами. Любовь творит чудеса, поэтому болельщики, тренеры, комментаторы и даже соперницы поняли, что борьба сегодня пойдет только за второе место. Аля помахала трибунам рукой и даже умудрилась сотворить реверанс – довольно изящный, если учесть, что на ногах были не туфельки, а лыжи.

– Наше вам с кисточкой! – улыбнулась Аля и сдула ее с глаз...

Свой этап она пролетела, словно на крыльях. Никакой тактики, никаких экономий сил – только вперед! Она и второй бы пробежала, как тогда, в 1945-м, и третий, если б потребовалось. Но нет – сегодня она передала эстафету совсем другим девчонкам, которые уже не падали от голода и лишений, а вместе со страной откормились, вылечились, выучились, окрепли и снова стали сильнее всех на свете. Фотографии этих русских красавиц, в обнимку стоявших на золотом олимпийском пьедестале, еще долго не сходили с первых полос журналов.

А где-то в далеком Павловске со знанием дела перемигивались старушки-ворожейки: мол, куда там ихнему супротив нашего...



**Олимпийская чемпионка
Алевтина Павловна Колчина (1949–2022)**





А. П. Колчина в Очёре





Г. Кулакова, Т. Густафссон, А. Колчина.
Олимпиада в Гренобле, 1968 г.



Алевтина и Павел Колчины, 2006 г.



«Школа чемпионов» супругов Колчиных



Пермские лыжники Николай Морилов и Наталья Коростелева в гостях у А. П. Колчиной на хуторе Отепя (Эстония)

С МАЛКОВЫМ ПОГОВОРИЛИ

Баба Саша выронила из рук деревянную толокушку и в сердцах пристукнула ладонью по столу: «Да куды ж его лешак-то занёс, баламута?»

Обычно на кухне из рук у бабы Саши ничего не падало, но сегодня она не на шутку разнервничалась. Еще поутру отправила своего разлюбезного мужа Николая Петровича по хлеб, а уж гудок заводской протрубил, солнышко за сосны наполовину скрылось, коровы с дальнего выгона, стозвонно гремя боталами, ко дворам вернулись, а его и след простыл, поэтому отобедали бабы Сашины домашние и отполдничали бесхлебно.

Супруг её был мужчиной видным, рукастым и головастым, но недостаток имел, по всеобщему жёнскому мнению, очень даже серьезный – выпить любил. И не то, чтобы напивался до бесчувствия или братания с чертями – на ногах стоял крепко. Куражиться не смел: и от тверёзого, и от пьяного никто богохульного слова не слышал. Кулаки тоже не чесал, но во хмелю нрав имел веселый, широкий, хлебосольный. Фронтовых друзей соберет ораву и пьют до темной ночи, что только и слышно на весь Очёр: «Рокоссовский! Филипп Иванович Голиков! Гудериан! Демянский котёл! Корсунь-Шевченковская...» А то закупит на всю зарплату подарков да вкусок ребятам околоточной и потом в лапту да «12 палочек» с ними играет. Или в футбол этот богомерзкий прямо на дороге пинает, как подросток, фальцетно орёт в азарте, коленки разодраны, под глазом фингал светится: ну срамно ведь перед соседями-то да и хозяйству убыток!

Спиртного в доме старались не держать, но люди пьянственные издревле были хитры до безобразия. Все спрятан-

ные заначки Николай Петрович находил ловчее, чем Шерлок Холмс следы собаки Баскервиллей. Баба Саша и в грядку огуречную бутыль зарывала, и в кадь с капустой квашеной топила, за божницу, вот грех-то, ставила под защиту Симеона Верхотурского – где там! Сыщёт, вылакает до донышка и сидит гоголем – в усы посмеивается, частушечками дурацкими дразнит:

А на сторону муженька хоть совсем не отпускай! Как в помочи уйдет – непременно наугощается: уважат хозяева искусного плотника честь по чести и еще и с собой дадут... На ревизию (Николай Петрович был лучшим в Очёре бухгалтером) – так там сам Бог велел, хитрованы-торгаши, чтоб умаслить горе-проверяльщика, подпаивали его и крестились, чтоб не дай Бог не заметил, бес глазастый, лишней усушки да утруски.

Только раз год позволяла баба Саша Николаю Петровичу полноценно выпить – на День Победы и одновременно на день поминовения павшего сына. 9 мая 1945 года пришла похоронка на сына Лёнечку – и горе страшное, и радость долгожданная в один день...

Баба Саша подняла с пола толокушку и, словно витязь басурманину, сумрачно насупясь, погрозила вдаль: «Ну, задам я тебе дачку, Николай Петрович! Попомнишь!»

Однако на этот раз у Николая Петровича привычного намерения найти и выпить вовсе даже не было. Он шел по самым что ни на есть трезвым делам в артель имени Чапаева, которую до войны возглавлял и откуда на эту самую войну ушел. Потолковать с мужиками, посудачить о том, о сём: кто жив, кто помер, кто внуками обзавелся, а кто имуществом каким – завсегда интересно.

Путь до артели, что располагалась в Зареке, пролегал через дамбу Очерского пруда. А вдоль дамбы прямой визиркой уходила в сторону города березовая аллея, еще при царе высаженная простыми очёрцами. Они хотели загородить ею

гнетущую серость дымным молохом kloкочущего внизу за- вода, чтобы хоть как-то отвлечься от мрачного быта и тяжелой работы на износ. Казалось, не о благолепии, не о зелени думать бы им — выжить бы, не изжариться живьем близ печей горячих цехов, свести концы с концами до следующей получки-подачки... Но, видимо, тяга к красоте как раз и спасала мастеровой люд от безнадёги, и, спасибо ему, спасает всех нас до сих пор.

Простые же рабочие — порой неграмотные, забитые нуждой, затюканные гневливыми господами, но с чувством прекрасного у наших предков было все в полном порядке: они ближе, чем мы, были к матушке-природе, и умели смотреть на дерево не только как на дрова для печки.

Вроде бы чего удивительного — березы как березы, но приглядевшись, понимаешь — хоть и одного они корня, но все не похожие друг на дружку. Как люди, по-разному прожившие жизнь. Кого-то она изрядно потрепала, мимо других просто прошла, даже не взглянув. Кто-то непокорно выпрямился навстречу всем ветрам, другие — сгорбились, приняли судьбу, не пытаясь ей сопротивляться. К одним душа вместе с рукой тянется, чтоб погладить, прикоснуться, а иные пугают одним только видом: скрипят, зловеще кликушествуя под вороний грай.

Вот с краю, прямо по-над Сливом широким кряжем врос в землю могутный великан. Сразу видно — береза мужского рода. Встал, где пожелал, а не там, куда воткнули саженец. Хочешь пройти — придется обойти, дорогу не уступит. Будто богатырь былинный гудит на ветру, шелестит по-разински буйной шевелюрой пестроватой листвы — как песню поет. В черных рябинах чечевичек, словно небритый работяга, в застарелых шрамах подпиллов: не единожды подступались к нему пильщики — мешал им чем-то витязь. Но тот лишь, грозя толстенным суком, словно палицей, усмехался: «Ну-кося, попробуй, сруби! Рубилка такая еще не отросла!»

Всегда полно было в Очёре таких же мужиков...

А за ним как за каменной стеной, чуть прижавшись бочком к шершавому стволу, выросла береза-мать – раскидистая, увешанная сережками, нарядная русская красавица. За восемь десятков лет на свежем воздухе нагуляла она свое дородное тело – белое, гладкое, кустодиевское. Стан и правда как у аппетитной женщины: все, что надо – на виду, только знай, любуйся! Нижними ветвями, будто широкой юбкой заслонила она березовую поросль, тонкими, мал мала меньше, вичками торчащую вокруг. Жданные и неожиданные сеянцы вскормлены материнским молоком – березовым соком, что обильным плачем стекает по стволу вешними днями.

А более старшие «детки» давно превратились в изящные шукшинские стройняшки, только-только забелевшие юной красотой и свежестью. Помахивают мягонькими венчиками листвы, будто девушки платочками на деревенских вечёрках.

А вот и «старики» – рядышком, как наши деды с бабками, всю свою долгую и непростую жизнь. Согнуты, но сломлены: «баушка» тихо ворчит, а невозмутимый в своей мудрости «дед» ласково, словно руку на плечо, положил не нее иссохшуюся ветку-кривулю. Листья на них желтеют рано и обсыпаются уже в июле, обнажая берестяные морщины, причудливые наросты капов и бородавки гриба-чаги. Беззубыми ртами зияют дупла, где нашли приют крошечные птахи. Даже при слабом ветерке роняют старые березы отмершие ветки, кои тут же пользуют на стройматериалы приверженцы птичьего общежития – грачи. Весной их гнезда растрепанными комками облепляют всю аллею, и проходим чудится порой, что свою знаменитую картину Саврасов писал с нашей – с очёрской натуры...

На тенистой аллее уж издали увидал Николай Петрович маленькую фигурку в черном пальто, что осторожно ступала мимо усыпанных опавшей листвою луж. Острием черного

зонтика, словно слепец с картины Брейгеля, путник щупал размякшую от дождя дорожку: вблизи он видел плохо, но вдаль и вокруг себя всё привычно и зорко примечал:

– Ба-атюшки! Доброе утро, Николай Петрович! Рад вас видеть в здравии добром и бодрости!

А Николай Петрович, еще не поравнявшись со старым знакомцем, уже тянул руку в приветствии:

– Здравствуйте, Филипп Михайлович! Что-то раненько вы сегодня на моцион вышли – сыро еще, не ободняло...

Сухая маленькая ладонь утонула в жилистой ручище Николая Петровича, но звериной силе ничуть не поддавалась. Рукопожатие было по-молодечески крепким – аж суставы хрустнули. Филипп Михайлович задорно и победоносно зыркнул на приятеля, словно ершистый воробей, что исхитрился стянуть крошку у степенного орла.

Длинный как жердь, под два метра ростом, в широченных солдатских галифе, какими вместо бредня, можно рыбу удить, – это Николай Петрович; маленький, подвижный, чем-то неуловимо умом и видом похожий на своего земляка, бывшего всесоюзного властелина Вячеслава Молотова – не кто иной, как Филипп Михайлович Малков.

Осмотрели друг друга други и видом остались довольны:

– Не гнётесь, Николай Петрович, как вон та береза!

– Да и вы, Филипп Михайлович, еще хоть куда! Бодрый!

– Маленькая собачка – до старости щенки!

– Большая фигура – да дура! Сдаю помаленьку...

Приятели встали рядом и неспешно двинулись вдоль по аллее в сторону центра Очёра: Николай Петрович-то помоложе годами был и ногами походче, поэтому из крепкого уваженья к Малкову повернул обратно – не в путь себе. Да и как с таким человеком занятым лишнюю версту не пройти и не побеседовать?

До редких прохожих доносились обрывки мудрёных фраз:

– Консервация... Неоколониализм... А правда и не должна быть вычурной... Волконскоит¹... Сухомлинский...

Филиппа Михайловича звали в Очёре ходячей энциклопедией. На любой вопрос он, казалось, ответ знал, любую проблему зрил в корень. Интересы его простирались далеко за те горизонты, в пределах каких жил тогда старый Очёр. Редко, когда в одной голове органично сочетаются ум, эрудиция и образованность, но у Малкова под шляпой «заводик» работал на всю катушку. Одна беда: умных людей вдосталь, а поговорить и не с кем... Поэтому в Николае Петровиче он нашел нужного для себя собеседника: вдумчивого, критически, но не яро и заполошно мыслящего, с незлым юморком и богатым житейским опытом.

– А что, Николай Петрович, будет ли Третья Мировая? В газетах пишут, как будто не должно?

– У нас, похоже, еще и Вторая не закончилась. Били-били – не разбили... Да и тех ли били-то? По-моему, кому-то еще наподдать надо было.

– Полагаете?

– Да, полагаю. А как насчет сталинизма думаете, Филипп Михайлович? Искореним?

– Страшно подумать – никак не думаю, – Малков достал платок и вытер взмокший лоб. – Забыть бы все это, но – как?!

В тридцатые годы умница и правдолюб Малков едва не сгинул в молохе кровавых чисток. Бесстрашный, когда дело касалось справедливости, он рьяно вступался за невиновных и оболганных земляков. Мыслей своих скрывать не умел: если знал, что этот человек – мерзавец и доносчик, то так и называл вещи своими именами. Само собой, все это вызыва-

¹ Волконскоит – редкий минерал, используемый для изготовления художественных красок. Крупнейшее месторождение было обнаружено близ Очера.

ло лютую зависть и раздражение у людей, подобными качествами не обладавших. Были и такие в Очёре, чего греха таить... Николай Петрович, как коммунист, знал об этом лучше своего старшего товарища, поэтому часто уговаривал Филиппа Михайловича, чтоб тот хоть чуточку был поосторожнее, хотя бы ради семьи. Доносы на Малкова уже лежали под сукном, ожидая своего часа...

Однако в тюрьму угодил не Малков, а сам Николай Петрович. Осторожный с властей предержащими, он оказался бессилён перед жуликами и проходимцами. И, как ни приискорбно, перед вином зелёным... После войны, будучи уже на пенсии, он подрабатывал бухгалтером в кооперативе. Начальство там до того наворовалось, что скрыть убытки было уже невозможно. Зная о пагубной страсти Николая Петровича, расхитители выставили такое количество горячительного, что тот не устоял. Вино полилось рекой, а наутро настало страшное похмелье: все бумаги были подписаны, печати, где надо, расставлены, товары схоронены – концы в воду... По показаниям жуликов, выходило так, что растащил всё Николай Петрович. Стыд жёг старого фронтовика, он не сдерживал слёз – за шестьдесят лет не испытывал такого позора, а тут, под старую, как говорится, эх... Когда следователь пришел в дом Николая Петровича с обыском, чтобы найти и описать ворованное, то с удивлением увидел, что описывать-то нечего – настолько скромно и бедно жила семья «вора». Даже соседи вступились за Николая Петровича, указывали следователю, что не туда он пришел, ошибся адресом, но тот и сам всё уже понял...

Малков с редким участием сопереживал своему приятелю, но и бранил за нерешительность, в сердцах называя Николая Петровича «графом Монте-Кристо». Он не снимал вины с проклятой водки, но и бывших сослуживцев Николая Петровича презирал и демонстративно перестал с клеветниками здороваться.

– Эдмон Дантес храбрее вас был – он отомстил своим хулителям, – пенял Малков другу. – А вы, подобно страусу, засунули голову в песок! Да-да – именно страусу! – горячился учитель: – А эти, с позволения сказать, люди до сих пор живут припеваючи. Гладкие такие, важные, при шляпах и портфелях. Они ж смеются над вами, Николай Петрович! И не прячьте глаза – это дело политическое! Вы же – коммунист!

– Да что вы, Филипп Михайлович! – вздыхал Николай Петрович. – Расскажу вам старый каторжанский анекдот: попали как-то разом в узилище медведь, лиса и петух. Как водится, пошел известный разговор в камере: кто за что вляпался и какое уважение, согласно статье, сидельцу полагается. С медведем просто всё: выдул ведро водки, говорит, да с волками подрался – наломал им косточек. Лиса юлила-юлила, да проговорила: дескать, назначили ее сторожем в курятник и грех попутал – уж больно вкусна курятинка-то... Один петух только молчит, перья распушил и важно по камере расхаживает. Его чин-чинарём спрашивают: «А ты за что угодил сюда, Петенька?» А тот презрительно оглядел компанию: «Вы, блатные, меня с собой не равняйте. Я – политический! Я пионера в зад клюнул!» Вот таких политических понавидался я в тюрьме: либо «язычники» – за такие же вот анекдоты сидели, либо газетку с портретом товарища Сталина, предварительно помяв, по известному назначению пустили. Вот и я такой же, не в камере будь сказано, петух, а не страус... И, считаю, правильно меня посадили: плохим я коммунистом оказался, коли партию чуть на поллитра и пачку махры не променял да жульманам поддался...

Ничего не ответил Малков, только несогласно махнул рукой и нахмурился: в вопросах правды и чести учитель был более щепетилен, чем сам Д'Артаньян...

– Лёнечка, милый сын, сбегай, касатик, пошукай деда! – баба Саша погладила по вихрастой голове внука, названного

в честь геройски погибшего сына. – Он на Урицкой поди или к Пашке Бояршинову ушел! Напьется ведь, прохвост!

– Да не-е, баба! – Лёнчик бросил сматывать надранную из конских хвостов рыбацкую леску и недовольный, что его оторвали от важного дела, проворчал: – Никуды он не денется. Деда в Зареку пошёл, в контору.

– Ах ты, господи, – всплеснула руками баба Саша. – Так там же Онорин, односум его, живет, а дальше у Наташки Пискли целый притон – так и ждут его, ирода! Ленечка, беги скорей, зови его домой!

– Ладно, баушка! Только не ругайся! – бросил на ходу Лёнчик, и лишь скрипнули ворота, а малец уж два квартала пробежал.

Николай Петрович частенько брал маленького Лёнчика с собой на шабашки: знал, что будет угощение и внуку кой-чего перепадёт. А баба Саша потом тишком, словно опытный контрразведчик, выводывала: дескать, что ели-то и пили там?

– А они заболели что-то... Лекарство пили. Горькое, говорят. Мне не дали...

– Вот так все разом и захворали?

– Да честно, баушка! Микстуру жогнули – аж слёзы из глаз, а потом все закашляли да давай лук нюхать! Только я один и не заболел! Я сладкое пил – «Ситро» называется!

Николаю Петровичу за такое лечение от бабы Саши здорово попало, поэтому Лёнчик впредь стал осторожней и на бабушкины ласки больше не вёлся. А выбежав на улицу, мальчуган быстро позабыл, по какой надобности был послан: встретил одного дружка, затем второго, а там уж пошли казаки-разбойники...

У спуска к заводской проходной из кустов акации-пикулишны донесся звон разбиваемой о камень бутылки, кто-то чертыхнулся и прокуренным голосом затянул бессмысленно пошлую, но почему-то так любимую в народе блатную песенку. Из сени листвы, на ходу застегивая ширин-

ку, на свет Божий выполз фиксатый, татуированный, словно людоедский вождь, добрый молодец и, подметая землю широким солпами давно не стиранных штанов, вихляющей походкой двинулся к приятелям:

– Эй, старикашки! Дайте мне в зубы, чтоб дым пошёл! Лётом!

Николай Петрович расправил плечи. Обычно местная шантрапа его побаивалась, блатняжки еще издаля раскланивались, щерились улыбками. Знали, что этот суровый дядя сидел и сидел, по их понятиям, почётно. А этот или не проспался, или залётный...

Малков нахохлился, словно воробей, и смело шагнул навстречу опасности с намерением гневно отчитать хама, но его опередил Николай Петрович: отвлекающим маневром махнул кепкой перед физиономией наглеца, резко сунул пальцы вилкой тому в ноздри и держал, пока хулиган не успокоился и не попросил прощения.

– В тюрьме таким трюкам наострились? – удивился Малков, провожая взглядом резво улепётывавшего вдаль по аллее гопника.

– Нет, Филипп Михайлович, раньше! – Николай Петрович брезгливо вытер пальцы о ствол берёзы. – В 1915 году, когда я служил вольноопределяющимся N-ского полка, старый унтер научил нас, патриотически зрелых, но неумелых новобранцев некоторым неуставным приемам, которые впоследствии многим из нас, вольнопёров, жизнь спасли. И что любопытно, первым на такие рога из пальцев попался мне один мадьяр в рукопашной. Пырнул он меня штыком, стыдно сказать, в самое мягкое место. Я взбесился прямо – засмеют же однополчане. Размахнулся уже, а тут пригляделся: парень-то пригожий такой, девкам на загляденье – убивать жалко стало... Вот и растопырил я пальцы, да в плен его взял. А звали красавчика того – Ференц Мюнних, да и сейчас, если газетам верить, так зовут!

– Что вы говорите? Тот самый? Министр ВНР? – встре-
пенулся Малков и укоризненно посетовал: – Ну, Николай
Петрович, такой случай и опять скрыли... Никудышный из
вас историк, равнодушный какой-то, право...

Дотошный любитель старины, краевед от Бога Малков
подобные исторические перипетии собирал, словно нумизмат
редкие монеты. Чем без его стараний была бы история Очё-
ра? Так – скучной бухгалтерией цифр и фактов, безынтерес-
ной, наводящей сонную тоску «автобиографией». Как никто
другой, Малков умел раскрасить обыденность глубокой ста-
рины, при этом не лукавя душой и не тасуя, словно шулер,
колоду достоверности...

– Николай Петрович, гляньте-ка, что за птаха чудесная!
– Малков с искренним восторгом указал на старую березу, в
густом межветвии которой копошилась, дрожа тонким хво-
стиком, малиновка. – Постоим, подождём – может, споёт
нам?

В любви ко всему живому приятели были единомышленны.
Малков знал и по-русски, и на латыни всякое существо в
окрестностях Очёра, что летало, скакало, бегало, ползало,
жевало траву и кушало себе подобных. Он мог часами рас-
сказывать о доисторических звероящерах и шерстистых но-
сорогах, удивляться повадкам куниц и росомах, восхищаться
стильными проектами прирожденных строителей – бобров и
ондатр, но даже легкомысленную бабочку, коллекции ради,
на иглу наколоть не смел...

Под стать ему и Николай Петрович: порой, с утра до
ночи ходил он с ружьем по лесу, но огласить чащу звонким
выстрелом и лишить жизни любое, даже самое несовершен-
ное создание природы, не мог. «Мне проще человека убить,
чем Божью тварь, – делился он с Малковым. – Что мне сде-
лали плохого утки, рябчики или лоси? Они же не могут отве-
тить мне – безоружные, беззащитные...»

И малиновка, словно почуяв от двух друзей волны доброты, радостно запела, засвиристела мелодичной трелью...

– Нет, ну это просто наказание, – баба Саша мерила шагами кухню. – И Лёнька пропал – как сквозь землю провалился! Придется самой идти искать...

Баба Саша от ревматизма на ноги была слаба, если куда и ходила, то только с тяжелым суковатым посохом – и опора, и от гулящих собак оборона. Она перекрестилась на Казанскую Богоматерь, явно игнорируя святого Симеона Верхотурского, что не защитил ее мужа от пьянства, и вышла за ворота...

– Доброго здоровьичка, Филипп Михайлович! Здрасьте, Николай Петрович! – это с первой смены шли домой рабочие Очёрского завода. – Михалыч! Дядя Коля, приветствуем!

Иные, раскланявшись, проходили мимо, но многие останавливались и присоединялись к гуляющим приятелям.

– Филипп Михалыч, а у меня двойня родилась! На кашу будьте добры! И вы, дядь Коль...

– А мы план на 103 процента выполнили! Теперь переходящее знамя – наше! Приходите к нам в цех в гости!

– Как там мой оглоед, физику-ту учит? А ежели нет, вздую его ремнем солдатским по первое число да по заднице!

– Филипп Михайлович, жёнка спрашивает: редька вдругорядь в цвет пошла – что делать-то? Вырвать или погодить?

– А как насчет музея? Сошлись ли с Нецветаевым-то?

– В партию надумал я вступить, может, поднатаскаете по уставу?

– Мой углан каку-ту хреновину медную вырыл в огороде – с буквами ненашенскими. Куда нести-то прикажете? В музей или на фатеру к вам?

– Филипп Михайлович, книжку тут прочёл про старое житьё. Брехня или правду бают про Екатерину-то?..

– Пстой, пстой, Филипп, – придерживал Малкова за рукав пальто старый согбенный токарь. – Я по поводу пенсии...

Каждому, всем до единого Малков отвечал и давал советы – лаконично, грамотно, понятно. Филипп Михайлович почитал рабочий класс, он с искренней радостью и уважением пожимал мозолистые, измазанные машинным маслом и мазутом ладони заводчан и не боялся испачкаться...

Николай Петрович стоял в сторонке, попыхивал самокруткой и без всякой зависти восхищался своим старым товарищем. «Филя-Филя-Филиппок, – никогда он вслух не ёрничал над Малковым. – Святая душа, бессеребряная...» Он знал, что в войну Малков бедовал, умирал от голода и тяжких болезней, но работал – и труд его «В Очёрской вотчине графов Строгановых» высоко оценен историками. Сам Николай Петрович, командуя женским коллективом в артели Чапаева, устал слушать каждодневный рёв от похоронок, причитания, что, дескать, ты, здоровый кобель, в тылу прячешься, и взял за грудки военкома: хоть рядовым, но на фронт отправь. И ушел с первым маршевым батальоном...

– Вы, Филипп Михайлович, если по копейке за каждый совет брали бы, давно б миллионером стали, – пошутил Николай Петрович, когда рабочие разошлись.

– Фу ты ну ты, Николай Петрович! – приосанился Малков. – Копеечка? А вот вам про копеечку: иду как-то раз по аллее и тут шлёп – монетка упала! 1800 года, понимаете вы?! Как с неба! Я ее поднял – и в карман! А потом ввысь глянул – сорока летает над самой головой и тренькает без умолку, будто говорит: отдай, мол, моё имущество. А я ей фигурку показал...

– Представляю, что она вам говорила – с птичьего языка непередаваемое, – рассмеялся Николай Петрович.

– Охохо-о! Держи! Даешь!

Навстречу путникам, вприпрыжку, весело горланя и мутузя друг друга портфелями, неслась ватага школяров. Заметив своего любимого учителя, ребяташки слегка присмирели. Их чумазные рожицы засветились улыбками:

– Здравствуйте, Филипп Михайлович!

– А-а, здравствуйте-здравствуйте, буйные женихи Пенелопы! Черёмухой лакомились или чернила пили? – Малков заметил, что зубы у парнишек окрасились фиолетовым от поздних ягод. – На плотину, гляжу, направились. Уроки-то выучили или завтра у доски опять партизан на допросе изображать будете?

– Выучили, Филипп Михайлович! Вчера ещё! – уверенно ответил курносый парнишка и хитро посмотрел на Николая Петровича. – Привет, дядя Коля!

– Костя Носков – способный малый, к учению удивительно прилежный, – улыбнулся Малков, а Николай Петрович отвернулся и улыбку хитро спрятал: еще вчера они с Костиком и его друзьями до сумерек гоняли в футбол на одни ворота – до уроков ли было, сорванцам...

– Ростки коммунизма! Видел бы Ильич, какую смену растим! Жаль вот только, что многих из этой смены мы на войне не уберегли, – вздохнул Малков и невольно осёкся, поняв, что затронул самую больную для Николая Петровича тему – скорбь по старшему сыну, зарытому в шар земной где-то в далёкой Австрии, до сих пор не покидала его... Да и сам Филипп Михайлович потерял многих, пусть не кровных, но от этого не менее родных для себя детей – своих учеников, которые могли стать Ушинскими, Циолковскими, Мичуринскими, Ферсманами...

Мало кто из очёрцев знал, что с Владимиром Ильичом Лениным Малкову посчастливилось встретиться трижды. А супруга вождя Надежда Константиновна Крупская необычайно ценила талантливого педагога из провинции, которые

поделился с ней многими передовыми идеями в области просвещения.

А Николай Петрович, будучи в Гражданскую войну бойцом-телефонистом у Василия Блюхера, говорил с Лениным по прямому проводу. Именно он принял телеграмму, в которой сообщалось, что Блюхер стал первым кавалером ордена Красного Знамени, и имел счастье первым поздравить будущего маршала с высокой наградой...

Похолодало... Рябь на водной глади Очёрского пруда запестрела пенными барашками. Вязким дребезгом загремели цепи – это припозднившийся рыбак ставил на прикол дощатую лодку. Мерный шум водопада со стороны сливного моста заглушал натужный рев станков второй заводской смены.

– А вы куда, собственно, направлялись, Николай Петрович? – спохватившись, спросил приятеля Малков и посмотрел на часы.

– Черт побери! – Николай Петрович, досадливо хлопнув себя по галифе, выдал самое страшное ругательство, что мог себе позволить – не жаловал он матерщины. – За хлебом был послан, но задачу не выполнил. Не миновать мне строгого взыскания... А сами-то вы куда шли, Филипп Михайлович?

– Я? Да собственно... – растерялся Малков. – Господи, да за хлебушком же и шёл, как и вы!

Приятели весело рассмеялись, пожали друг другу руки и разошлись по аллее каждый своей дорогой...

Баба Саша доковыляла до ближнего проулка – дальше идти сил не было.

– Да пусть он хоть до положения риз нажулькается, лишь бы только не случилось чего, – всхлипнула она и, приложив ладонь ко лбу, стала всматриваться в стремительно наступающую темноту.

Ветер усилился, весело, словно веерами, играя пушистыми ветвями диких яблонь: они клонились в разные стороны, оставляя на светлом пятне от уличного фонаря причудливые тени. Кварталом ниже скрипнула дверная калитка, лениво затыкался, не признав в темноте хозяина, сторожевой пёс. У забора истошно замяргали изготовившиеся к драке коты. Баба Саша вздрогнула и жалобно позвала в темноту:

– Коленька-а! Ко-оля!

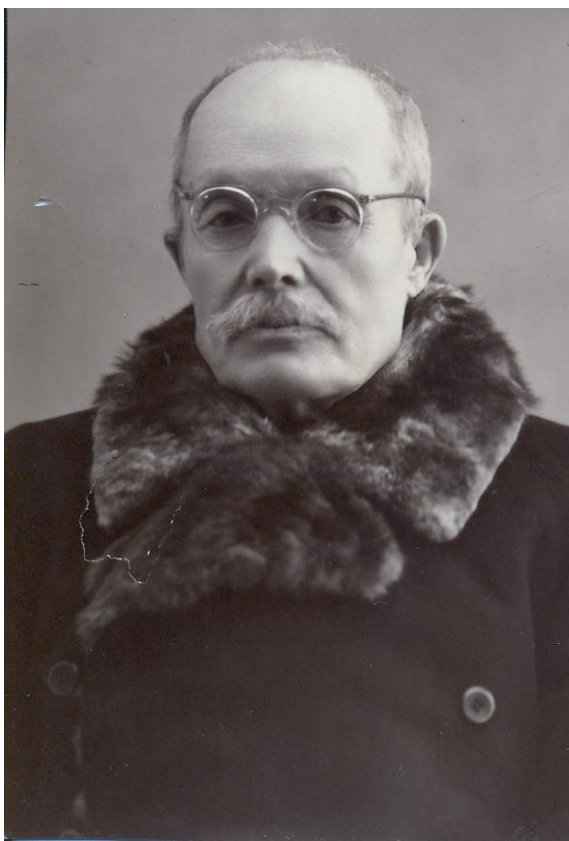
– Да тут я, Шурочка! – Николай Петрович словно вынырнул из-за угла. – Что ты, золотко!

Отбросив посох, баба Саша кинулась к мужу, прижалась к его груди и украдкой вытерла слёзы о пропахшую табакосоворотку. Она, недоверчиво взглядывая на невозмутимого Николая Петровича, пыталась уловить другие – хмельные запахи, но их не было.

– Где ж ты был столько времени, Коля? Ушёл – и дом построил! Я уж вся извелась...

– Да так – с Малковым поговорили...

Николай Петрович бережно взял жену под руку, и они неспешно двинулись домой. Баба Саша счастливо улыбалась, думая о том, что муж ей достался все-таки очень даже ничего – гляньте-ка и завидуйте: не напился и с людьми хорошими, мудрыми знается... А Николай Петрович только облегченно усмехался в седые усы – за хлеб ему сегодня уж точно не попадёт. Хорошо бы и Малкова тоже не заругали...



Филипп Михайлович Малков,
1948 г.



Частый попутчик Малкова на
прогулках по березовой аллее
Николай Петрович Шардаков



Ф. М. Малков с учениками



Вид на Березовую аллею с набережной пруда – начало XX в.



«Павловская аллея» — наши дни

НЕЦВЕТАЕВКА НАРОДНАЯ

Алексей Николаевич – молодой кандидат наук – сидел в тени на травке, прислонившись спиной к стволу раскидистой яблони, словно Исаак Ньютон. Забавно наморщив лоб, он листал какие-то бумаги, внимательно всматривался в чертежи и схемы, делал на них пометки карандашом, почёсывал затылок, закатывал глаза в небо и шевелил губами – словом, работал головой, между делом отдыхая от другой работы – физической.

Рядом лежала штыковая лопата, густо облепленная рыжим суглинцем. На расшитом петушками полотенчике нарисовался скромный натюрморт: пузатый глечик¹ с молоком в окружении простецкой снеди – коврижка хлеба да огурчики-помидорчики, опутанные сочной зеленью луковых стрелок.

А за яблоней – огромная, соток на пятнадцать, картофельная грядища. Подпирая друг дружку выпуклыми боками, как раненые солдаты, криво стояли заплатанные холщовые мешки – полным-полно полнехонькие. В бороздах спрятались оцинкованные вёдра, доверху засыпанные здоровенными оковалками белых клубней. Но еще больше их, будто градом разбросанных по земле, сохло на ветерке среди клочьев пожухлой ботвы. Уже целую прорву вырыл картошки Алексей Николаевич, а работы впереди край непочатый – конца не видно. Уж больно плодovита земляца очёрская на второй хлеб...

Раз в год, в конце лета Алексей Николаевич обязательно приезжал в родной Очёр, чтобы помочь матери выкопать

¹ Глечик – глиняный горшок.

картошку. Он учился в аспирантуре знаменитой Тимирязевской сельхозакадемии на агронома-почвовед, поэтому к огородничеству подход имел сугубо научный. Алексей Николаевич важно — ну просто вылитый академик Вернадский — ходил по межгрядям, деланно хмуясь и наставительно воздевая указательный палец в небо, давал советы по агротехнике. Тут лист желтеет — азота не хватает, там почва подистощилась — аммофоски сыпнуть требуется, здесь рядки нужно пореже вести, а на другой гряде, наоборот, погуще — и всё в таком роде...

Однажды молодой агроном удивил соседей, что табунном ходили за ним (вдруг, чем дельным надоумит?), тем, что нагреб в ограде с полдюжины корыт подгнившего корья, опила да разного сора и вывалил всё прямо в гущу малинника: дескать, в такой мульче кусты будут как у Христа за пазухой — ядрёны и ягодисты. И верно: малины стало — в лес не ходи! Ветки красной смороды он подрезал по-особому, будто хвосты драгунским коням, отчего гроздь ягод теснились на них так кучно, что листьев не было видно.

К картошке же Алексей Николаевич имел давнишнее пристрастие. Помнил, что в лихолетье военное многих очерцев спасла она от голода. В малолетстве хлеб он только по воскресеньям едал, на полном серьёзе считая его за праздничное лакомство, зато картофеля на столе было вдосталь и, как считал Алексей Николаевич, должно быть еще больше. Как-то раз сквозь сизый сумрак дымовой завесы Тимирязевской курилки он опознал известного на весь Советский Союз селекционера профессора Лорха, рассказал ему об опытах очёрских картофелеводов, и Александр Георгиевич подарил ему несколько клубней высокоурожайного сорта, лично им выведенного и в честь него же названного — на развод. Вот теперь не знает Алексей Николаевич, куда деваться от этой высокоурожайности — ладони в мозолях кровавых и поясницу ломит, как у древнего старца на погоду...

– Вот увидите, мама, я такое удобрение изобрету, что на выставках будут ваши фрукты да овощи красоваться, – сулился агроном.

Но у мамы Шуры рука была лёгкая – всё и так росло, без ценных указаний ученого сына. На превших от навоза высоких парниках нежились пупырчатые муромские огурчики; морковь, казалось, до центра земли возжелала проткнуться – без мышки-норушки и не вытащишь такую; упругие кочаны капусты большеголовыми идолами торчали на коротких кочерыжках; на грядках толкались желтыми боками репки; стройные ряды бобовника охватила кольцом усастая повитель гороха; под пестрыми листьями, словно неразорвавшиеся снаряды, прятались разнокалиберные кабачки... А уж яблоны – те просто красавицы! Не хуже, чем у Александра Васильевича Нецветаева – садовода на полстраны известного.

За большую учёность его с юности уважительно звали Алексеем Николаевичем. Даже родная мать порой забывала, что перед ней не сорванец Лёшка, коего за шалости не раз потчевала по голому задку крапивой, и не ненаглядный Лёлечка, что в войну, словно некрасовский мужичок с ноготок, тащил на себе бремя единственного в доме мужчины, и почтительно роняла: «Алексей Николаич, хорош-ка глаза книжками маять, попробуйте лучше шанежки сметанные».

Все науки давались ему легко. Задачки щёлкал что орешки: хрум-хрусь, скорлупу выплюнет – и вот он ответ готовый! Стихи самые длиннющие заучивал в пять минут: на страничку мельком глянет – и пошел чесать как по писаному. Над учебниками Алексей Николаевич не корпел, поэтому свободного времени оставалась уйма. Чаще, правда, на баловство да проказы – и в школе, и дома. Потому кроме величального имел он еще и куда менее почтительное прозвище – Лешман.

Школа сообразительному пацану быстро наскучила. На уроках он вертелся юлой, шумел, перекидывался с одноклас-

сниками таинственными записочками. А если сидел тихо, то учителя еще больше опасались – значит, каверзу какую замышляет, сорванище. Изобретателен был Алексей Николаевич на шалости, только держись! На военной подготовке бомбочку самодельную шандарахнул и из поджига по мишеням с силуэтом фашиста пальнул, что военрук, от окопной жизни еще не отошедший, мигом лёг на пол. Хотели участкового вызвать, но по первости обошлось ремнём. На уроке химии насеребрил двухкопеечные монеты и, выдав их за гривенники, накупал на базаре сладостей и полшколы угостил. Вот тут без милиции не обошлось – попало на орехи горе-фальшивомонетчику.

Соседу, что жалобами да кляузами всю улицу замучил, бросил в нужник пачку дрожжей. И вся улица неделю, зажав носы, ходила, на все лады проклиная «химика». А то что еще удумал: полугодовалого боровка обрядил в тулуп и шапку-малахай умудрился ему на голову присобачить. Сестра утром пошла кормить поросёнка, открыла дверь в стаю, а там... Очнувшись от обморока, рассказывала потом подругам: «Ужаси несусветные! Гляжу: копытца из рукавов выпростав, передними ногами на стену упёрся и, башку повернув, глядит на меня кто-то – Борька не Борька. Морда-то вроде поросёнка, а голос – Лёшкин! Здрасьте, говорит, Лиля! Тут я и пала... Спрятался, паразит, ночью на повити¹ и ждал, чтоб напугать. Ну, Лёшка... Я маме жалуюсь, чтоб наказала стервеца, а сама смеюсь. Гляжу, и мама едва сдерживается – так и захохотали вместе...»

Однажды девочки выпололи пришкольный участок от чертополоха и бурьяна, а мальчишки под предводительством Алексея Николаевича ночью... вкопали сорняки обратно.

– Выгнать из школы этого агронома! – горячился директор. – А не то он еще не такое отчебучит! Ведь недели не

¹ Повить (повёт) – нежилая пристройка к дому сзади над хлебом.

прошло, как он на этом же месте стоял, сопли размазывал и клялся, что исправится!

За бедолагу вступился учитель физики Филипп Михайлович Малков. У него-то на уроках Алексей Николаевич лучше всех успевал и, главное, тихо сидел да слушал внимательно.

– Выгнать успеем! – Малков с усталой укоризной поглядел на опустившего голову, шмыгавшего носом сорвиголову. – Умная башка, да дураку досталась! Вот вы столько трудов потратили на баловство, а нет чтобы на нашем приусадебном участке сад с огородом развести, как у Александра Васильевича Нецветаева? Чем собак гонять да со шпаной вожгаться, лучше бы делом полезным занялись. Сегодня же после уроков навестим его...

Так Алексей Николаевич попал на поруки двух замечательных, сильно уважаемых в Очёре людей.

– Мы с бесёнком не справились, так у Александра Васильевича, думаю, получится. Он найдет подход! – заверил директора Малков.

Учитель за руку отвел Алексея Николаевича в дом к Нецветаеву. Увидал тот нецветаевский сад – рот раскрыл! Чудо-яблони, кустистый крыжовник с огромными ягодами, сливы... А это что там? Братцы, подумать только – арбузы и дыни! Настоящие, всамделишные дыни, что Алексей Николаевич только на картинках и видел. Через весь сад-огород проложена хитроумная система орошения – как в Древнем Риме, ей-богу!

Из сарайчика вышел сам Александр Васильевич – круглые очки закинута на умный лоб, сам весь в древесной пыли и стружке, в руках стамеска и дивной красоты груша. Батюшки-светы: муляж деревянный, а выглядит как настоящая – даже укусить охота. С тех пор все детские мечты Алексея Николаевича стать летчиком, писателем или врачом навсегда померкли...

– Вот, привел вам будущего Эйнштейна на грядкотерапию – больно уж боек и занозист, – Малков пожал хозяину руку. – На вас вся надежда, Александр Васильевич...

– Да нет, Филипп Михайлович, – Нецветаев с усмешкой глянул на застывшего в удивлении парня. – Этот, похоже, про физику вашу уже позабыл – Мичуриным станет или Прянишниковым...

...«Подобные фракции не должны выпасть в осадок», – беспрестанно вертелось в голове у Алексея Николаевича. Но тут порывом ветра с дерева сбило сочное яблоко, которое с трехметровой высоты шмякнулось учёному прямо на макушку: «Бац!»

– Надо же – даже не разбилось! – задумчиво почесал он ушибленное место, пожонглировал яблоком и вдруг едва не подпрыгнул на месте. – Точно! Эврика! Прямо как с Ньютоном! Вот и не верь после этого в легенды...

Алексей Николаевич быстро набросал в тетрадке какие-то мудрёные формулы, циферки и коэффициенты. Довольный собой, он поплевал на ладони и решительно взялся за картошку..

А вечером за ужином приятно утомленный Алексей Николаевич поделился с матерью:

– Ладная перед баней яблонька выросла – аккуратненькая такая, плодовитая. И, главное, удачу приносит!

– И сама не нарадуюсь! По сорок банок компота закатаю – всем хватает, и тебе в Москву, помнишь ли, присылала. Одно слово – нецветаевка...

– Мама, да это же белый налив!

– Верно-верно, наливные! – будто не расслышала мать. – Нецветаевка и есть!

– Неужели именно нецветаевка? Надо свериться с реестром...

– Александр Васильевич еще три года назад подарил. Говорил, какой сорт, да я запомнявала. У соседей пойдите да

спроси, он всей улице саженцы роздал – и у тети Груши, и у Патрушевых, и на Угоре у Коли-Пупика.

Алексей Николаевич начал вспоминать, что за яблони росли у соседей. У тети Груши верно – белый налив, а у Николы Патрушева – китайка, а у Пупика вообще уральская с красным бочком, на белый налив нисколько не похожие...

«Хм, ерундистика какая-то – песня очёрская, слова народные... – пожал плечами ученый, но призадумался. – Хотя нет – не ерунда! Люди в честь кого попало яблоню не назовут. И сколько раз бывало, что народное название затмевало научное или официальное. А ведь звучит – нецветаевка!»...

Заседание первого в новом семестре ученого совета плавно перешло в чаепитие. Самых молодых аспирантов отправили в магазин за «крепким чаем», с длинного стола кафедры растениеводства убрали папки с дипломами да курсовыми и накрыли его скатертью. По снеди, которую ученые выкладывали на общий кошт, сразу было видно – кто, где и как проводил свой отпуск.

Профессор Панов отдыхал на Ахтубе, все дни напролёт не выпуская из рук спиннинга или удочки. Отсюда – нежнейший балык жирно просвечивал сквозь оберточную бумагу, пряно пахла астраханская вобла.

Загорелый, как бедуин, доцент Покровский выставил огромную бутылку с красным вином, а рядом высыпал горку душистых мандаринов – привет, как говорится, из солнечной Абхазии! Завхоз Джунько деловито нарезал соленое с чесноком сало, а на широкое блюдо рядом аккуратно разложил поджаристые украинские вергуны. «Мэнээс» Вечеринский открывал банку с сибирскими белыми грибами. Даже лаборантка Светочка, впервые побывавшая в Крыму, привезла оттуда шершавые персики и кучу новых впечатлений, о чем весело щебетала, накрывая на стол.

Лишь Алексей Николаевич скромно помалкивал. Хвастать ему вроде было нечем – он ведь всего-навсего картошку в Очёре копал... Хотя, если бы его коллеги увидели огромный, что море разливанное, пруд с живописным островом, зеленый бор с янтарно блестящими на солнце стволами вековых сосен, или отвесную, словно у неприступной крепости, стену Кукуйской горы, то все свои следующие отпуска непременно пожелали бы провести на неповторимой красоте очёрской земле.

А на стол Алексей Николаевич высыпал из кулька яблоки, что заботливо уложила ему в дорогу мама. Те самые, нецветаевские...

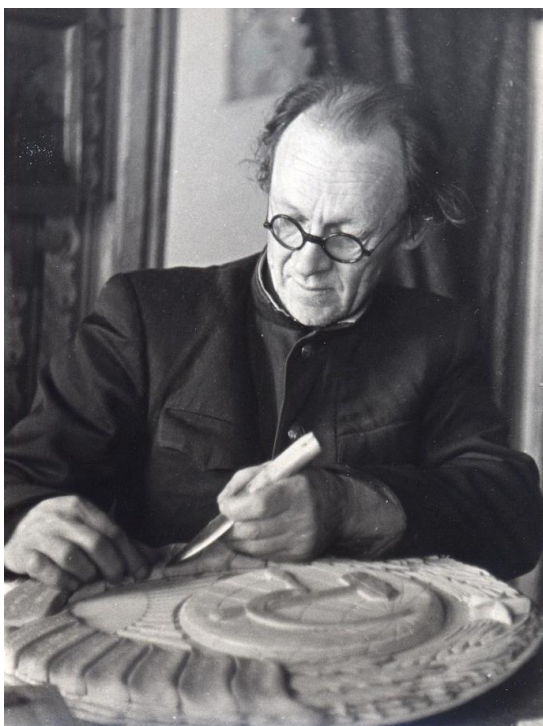
Неказистые на вид очерские яблочки казались золушками на королевском пиру, и поначалу к ним никто даже не притронулся. Лишь профессор Панов, чтоб уважить своего любимого аспиранта, взял в руку самое маленькое, деликатно хрумкнул, вскинул брови, и уже не мог остановиться, жадно работая челюстями – даже огрызка не оставил. Тут же через стол к яблокам потянулись десятки рук...

– Алексей Николаевич, а что это за сорт такой изумительный? Белый налив? *Malus domestica Papirovka*?

– Нет, коллеги. *Malus Netsvetaevka vulgāris*! Нецветаевка народная. Наша, очёрская...



Александр Васильевич Нецветаев –
основатель краеведческого музея в Очере



А. В. Нецветаев за работой



Алексей Николаевич
Шардаков – кандидат с/х
наук



А. В. Нецветаев в кругу друзей. Первые послевоенные годы.



Знаменитый «домик в Очере» – станция юннатов

ИМЯ РЕДКОЙ ДОБРОТЫ

Поздней ночью в двери квартиры Мокрушиных сначала позвонили, а затем раздался нетерпеливый стук.

– Наверное тебя, Витя! – тронула за плечо спящего мужа Ава Васильевна – миловидная женщина с глазами удивительной глубины и роскошными русыми волосами, что бывают только у исконно русских красавиц.

Районный прокурор привык подниматься по тревоге. Обычно его вызывали по телефону, но если за ним приехали посреди ночи и так сильно барабанят в двери, то, скорее всего, случилось что-то ужасное и непоправимое, требующее немедленного расследования.

Виктор Максимович привычно – по-солдатски, без раскочки – встал с кровати, пригладил перед зеркалом непослушные вихры и открыл замок. Однако вместо милиционера в форме прокурор обнаружил на пороге молодую девушку, которая качала на руках свёрток с плачущим младенцем.

– У-а, у-а, – плакал малыш, но Аве Васильевне отчетливо послышалось другое: – Ава! Ава!

– Авочка, к тебе! – ничуть не удивился Виктор Максимович. – Собирайся, а я пока чайник поставлю!

Ава Васильевна, как лучший в районе детский врач, тоже всегда была готова к ранним подъемам и ночным визитам. И все они были, увы, не из разряда приятных. Накинув халат, она вышла к дверям – причёсанная, свежая, собранная, будто и не спросонья вовсе...

– Авочка Васильевна, спасите Димочку! – запричитала молодая мама, размазывая по щекам подтёкшую от слёз тушь. – Дышать перестаёт! Пока бежала сюда, думала что всё... А на Скорой велели: «Ждите!» А чего ждать-то, коли

помирает кровиночка моя, – и девушка зарыдала громче, чем ребенок.

Ребёнок гулко кашлянул, словно взрослый курильщик, в его маленьких, едва-едва сформировавшихся лёгких зловеще забулькала вязкая мокрота. Он пытался заплакать, даже посинел весь и сморщился от натуги, но из маленькой груди вырывались лишь отрывистые хрипы. Малыш, конечно, не мог объяснить, что с ним случилось и где у него болит, только смотрел на тётю-врача полными слёз глазами – с надеждой. Но Ава Васильевна давно уже наизусть выучила детский бессловесный язык боли и страданий.

– Острая пневмония! – безошибочно поставила она диагноз и по-докторски решительно скомандовала: – Мамаша, перестаньте кричать! – и уже мягче: – Проходите в комнату, ребенка на кровать положите и распеленайте. А я сейчас! – Ава Васильевна открыла докторский саквояжик, где у нее в полном порядке, каждые на своих местах, лежали медицинские инструменты и лекарства – всегда наготове для подобных случаев.

А в светлой голове ее, как книги на полочках, были аккуратно разложены все медицинские знания, которые Ава Васильевна регулярно пополняла. За ее хрупкими на первый взгляд плечами – тяжелый рюкзак, полный бесценного опыта по спасению жизни малышей. А в отзывчивой душе – столько неисчерпаемой доброты, что не было таких весов, чтобы взвесить ее, и поэтому ее на всех хватало. Весь этот арсенал, без которого бессильны любые медицинские препараты, у Авы Васильевны тоже всегда был наготове...

Споро и деловито врач осмотрела и прослушала ребёнка, и строгая печать тревоги омрачила ее ясное лицо.

– Будем госпитализировать, – стараясь не выдать беспокойства, решила Ава Васильевна.

В больницу, чтобы вызвать транспорт, она звонить не стала. У нее в запасе имелся более быстрый и надёжный способ.

– Витя, срочно нужна машина! Звони своему шофёру! – Ава Васильевна могла и пешком за тридевять земель на руках унести малыша, как бывало не раз, но тут надо было спешить.

А Виктор Максимович опять не удивился и начал крутить диск телефона...

– Надо же, пятый уже за неделю, – подсчитала нянечка спасенных Авой Васильевной, вырванных ею из костлявых лап смерти маленьких очёрцев.

«Господи, только не надо больше», – взмолилась доктор, устало снимая с себя белый халат. Врачам плошать не положено, но и на Бога надеяться никто не запретит...

Ава – имя некруглое, редкое. Персидское. Однако, как рассказывал мне дед, отец Авы Васильевны хотел назвать дочку Аллой, но... не выговаривал букву «Л». Так и заявил в загсе: «Назовём Авой!», а служительница не переспросила: дескать, Ава – так Ава...

А через год в Очерский загс пришла молодая женщина с двумя детьми. Старшего Димочку – веселого, голосистого, здорового мальчугана – она вела за ручку, а девочку несла в другой руке – в конверте из пеленок и розового одеяльца.

Работница загса открыла книгу актов.

– Какая милая мордашка! – улыбнулась она, посмотрев на малышку. – Как записывать будем новую гражданку Очёра и Советского Союза?

– Ава, – ответила мама и смутилась: – Не Алла, а Ава. Редкое имя. Авочка...

– Ава? – ничуть не изумилась работница загса. – Красивое имя! Доброе! Но вовсе не редкое – у нас уже пятая Ава в этом году.

Так вступила в жизнь еще одна крестница самоотверженного доктора, широкой души человека и просто прекрасной русской женщины – Авы Васильевны Мокрушиной. Но если всех вылеченных ею, вынянченных и выпестованных, спасенных и поставленных на ноги, возвращенных с того света детишек можно было бы назвать в ее честь, то жили бы в Очёре сплошные тёзки...



Ава Васильевна Мокрушина (справа)
— заместитель главного врача Очерской районной больницы.

ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ

В Прибалтику я больше ни ногой!
Там дряхлые эсэсовцы пьют пиво,
С отвислою курляндскою губой,
Хоть и в своём ландшафте – но фальшиво...

Эсэсовская молния во лбу,
А череп рисовать уже не надо...
Не слышит Сталин вашу похвальбу –
Участники позорного парада.

Вы русские тревожите гробы.
И что б сказал вам Юргис Балтрушайтис?
Прибил бы к вашим спинам он горбы,
Горбатые эсэсовцы – шатайтесь!

Из Львова вам вопит УНА УНСО,
Стучат когтями холуи нацистов.
Не вижу ни одно средь них – лицо,
Лишь морды острые, как локти у регбистов.

Всем старикам почёт! Но эту мразь
Я бы загнал пинками в чан с навозом.
Того, кто вынырнет, – по черепушке хрясть
То сапогом солдатским, то морозом.

Игорь Тюленев

Давно подметил, что ветераны войн, что за последние сто лет сотрясали Россию, самых отъявленных негодяев, подлецов, жестокосердных подонков называют именами тех самых врагов, против которых они воевали.

Мой дед Николай, наглядевшись в Гражданскую на замученных колчаковцами и деникинцами красноармейцев, со всем уж неприятных для себя людей называл просто – белый, «беляш», контрик!

Для деда Петра, прошедшего в Великую Отечественную тысячу тысяч кругов ада – Одессу, Крым, Сталинград, Курскую дугу, и белозубый американский «джи-ай-джо»¹, топивший в крови Вьетнам и Панаму, и пьяный гадёныш, ни за что ни про что зарезавший прохожего, и даже малолетний баловник, что, упиваясь силой, поднял за хвост беззащитного котёнка, назывались одинаково – фашисты!

Дядя Ваня Кулындышев, контуженный на Халхин-Голе, обидевшись на кого-то, в сердцах обзывал его: «Самурай!» А дядя Паша Шахтаров, что с боями доехал на своем Т-34 до Праги, на своей шкуре испытал, с какой оголтелой жестокостью ведут себя потерявшие совесть и стыд нелюди – предатели-власовцы, которым даже наш плен был заказан, почему и рвались они на запад, к союзникам, где их, как они и ожидали, обласкали и пригрели... «Вл-ласовец! – презрительно бросал он вору, распоясавшемуся хулигану и даже... обыкновенному болту, что никак не желал подходить под резьбу выточенной им гайки.

Его младший брат Константин, беззлобный весельчак и красавец, воевал на белофинской, но звал ли он своих недругов финнами, не знаю – убили его в ночной атаке на заснеженном поле под Питкярантой. Но, останься жив, видимо, звал бы: о былой, подлой и бессмысленной жестокости наших северных соседей-«лахтарей» до сих пор ходят жуткие легенды. Очень надеюсь, что былой...

Для моих многочисленных друзей, что прошли Афган и Чечню, самыми бранными словами стали «дух» или «душман».

– Душман! – наотмашь врезал по скуле прохвосту, что стащил на пропой у матери пенсию, «афганец» Рафис Балташев.

¹ Джи-ай-джо (G.I. Joe) – разговорное название американских солдат.

– Хуже «духов» вы, падлы! – ругал участковый Дима Соромотин – десантник-пулеметчик, участник штурма Грозного, кавалер медали «За Отвагу» – двух отморозков, что ограбили старушку, которая, опираясь на клюку, шла домой с авоськой с хлебушком и молоком.

А у очёрца Владимира Емельяновича Дуняшева, побывавшего в таком пекле, где даже живые завидовали мёртвым, не было в матерном лексиконе словечка гаже и паскудней, чем – БАНДЕРОВЕЦ! Презрительно и сочно, как сквозь зубы плевок, вылетало оно из его уст. Но не часто бросался такой бранью дядя Володя: видимо, мало встречал он на очёрской земле субъектов, достойных подобных «эпитетов»...

О войне он редко кому рассказывал. Лишь раз при мне, племяннике-историке, разоткровенничался, когда мы с ним на берегу Очёрского пруда конопатили его утлую лодку-плоскодонку. Дядя Володя терпеливо утыкал щели на ее бортах просмоленной паклей, зажав в губах веер тонюсеньких гвоздиков, сноровисто работал молотком, прибывая полоски листового железа к днищу. И вдруг он увидел, как подвыпивший очёрский добрый молодец, вылакав поллитру, со всего размаху бросил бутылку на камни. Стеклянные брызги рассыпались по водной глади...

– Вот бан-де-ровец! – выругался Дуняшев, и в его устах бранное слово прозвучало почти как «бандерлог». – Тут же детишки купаются... Что же ты творишь, паразитище?! – крикнул он ухарю.

Но тот лишь глупо заржал, гримасничая, и криво корча свою неприятную, с явными признаками вырождения физиономию...

– Вот такие же бандеровцы в 45-м разбивали бутылки о головы младенцев, – стиснув зубы, промолвил дядя Володя.

Тошно мне стало...

– Не удивляйся, – затянулся табаком Дуняшев. – Для меня это имя стало нарицательным – именем непревзойденной мерзости, той глубины падения, в какую бездну может сверзиться человек. И перестать быть им...

И начал свой рассказ, после которого я понял, что омерзения всех вместе взятых белых, фашистов, самураев, лахтарей, власовцев, моджахедов, зеленых беретов, махновского отродья, террористов, садистов, маньяков, чикатил и ганнибалов лектеров, детоубийц, ЛГБТ-извращенцев не хватит, чтобы объяснить это слово – бандеровец!

– Повидал на фронте и немцев, и мадьяр – спору нет, зверья среди них хватало, – говорил дядя Володя, глубоко затягиваясь едучим очёрским самосадом, завернутым в листок старого календаря-численника. – А в концлагере прибалты бесчинствовали – те еще изуверы, эсэсовцам до них далеко было. Но знаешь, Максим, не встречал пакостнее и мерзее нелюдей, чем бандеровцы! Узколицы, узколобы – выполняли они всю грязную работу, на которую не были способны даже самые отъявленные подонки. Гитлеровцы хотели чистенькими остаться, поэтому с удовольствием нашли пособников, готовых на низость... И с тевтонской безгливостью презирали своих сателлитов...

– Не все же украинцы такие, – пробовал возразить я.

– А это никакие и не украинцы! – озадачил меня дядя Володя! – Я знаю украинцев! Когда нашу Украину освобождали, то люди Красную Армию хлебом-солью встречали. «Родненькие! Вернулись!» – плакали от счастья украинцы... А бандеровцы – это выродки, которые, наверное, есть в каждом народе, но все равно – таких, как выродки народа украинского, история еще не знала!

Досталось украинцам крепко под фашистом, но и они сложа руки не сидели. Ковпак же воевал там, Верширора! Да и среди западенцев были настоящие люди! Но именно, что были... Вот, к примеру, взять белорусов. У них тоже были

предатели, но основная масса – бесстрашные борцы с нацизмом. А тут наоборот... Куча предателей – и отдельные храбрецы! Нет у такого народа будущего...

В нашем полку много было украинцев. Что подметил, парни, по большей части, мягкие, добросердечные, в чем-то даже наивные. Хохлами их звали, а они беззлобно отшучивались: «Тю, кацапы, москальки!» Песни спивали – заслушаешься. Я за баяниста был – много разучил: «*Ніч яка місячна*» и «*Рече та стогне Дніпр широкий!*»...

А как увидели хохлы, что немцы да полицаи творили на их неньке-Украине, очерствели душой. Стали воевать жестоко – без пощады. Останавливать иной раз приходилось! Не буди лихо, пока оно тихо... Я до поры думал, что вот такие украинцы и есть. Наши с потрохами – братья родные! А сподобил черт прознать, что и другие имеются – из иного теста. Не из теста даже, а из г..на собачьего...

– В плен я попал дуриком, как и большинство таких же бедолаг, – рассказывал дядя Володя. – Катился вместе с десантом на танке в атаку, а тут взрыв – и не помню ничего. Очнулся – собаки лают. Кругом колючка, а рядом понурились такие же горемыки – контуженные, оборванные, в бинтах... Повезли нас на запад. Попал я в дулаг – пересыльный лагерь, где нас начали сортировать – расстреливать, кто не угоден, а кто крепче – на работы отправлять во славу Рейха их гадючего... Ну, думаю, шиш вам, смоюсь! И, главное, понял, что бежать надо сразу – поспрошал у доходяг, оказалось: за две недели их довели до ручки такой – прозрачные, аж кишки видно...

Сговорились мы с парнем с Донбасса, который более-менее Украину знал. Жинка у него из Ровно рожачка... Назвался он Серёней, но я понял, что ненастоящее это имя.

Повели на работы: мы расчищали завалы на дорогах, дома разбомбленные раскатывали на бревна. Зазевался охранник – мы и дёру. Никогда так не бегал – откуда и силы.

Серёня хрипит: постой, дескать, обожди, не лети так... А я, не гляди что худобздей, под микитки его поднял, за гимнастерку схватил и волоку – только ногами перебирай. Отбежали мы верст на пятьдесят, только тогда успокоились.

А жрать хотелось – спасу нет! Зашли мы в хутор – богатый, нетронутый. Постучались в крайнюю хату. Вышел старик – чистенький такой, в шляпе войлочной... Сунул нам ломоть хлеба плесневелого, а сам озирается, дрожит, нервничает. Говорит: «Сынки, до вечера перекантуйтесь у хатцы, а там я вам поисты соберу – сейчас ничьего нема!»

Не понравился он мне сразу, не наш какой-то, что ли... Я и толкаю в бок Серёню: пошли, мол, от греха... Только до ближайшего сколка добрались, глядим – подводы из хутора, как тачанки махновские по полю несутся! В них мужики, бабы и подростки – кто с дрекольем, кто с вилами, а у кого и берданки в руках. Стали нас окружать – видно, что отработана была схема... Но мы ушли все-таки, обманули их. «Вот мерзавцы, вот гниды!» – я ж думал, что советские люди на такое не способны. А Серёня молчал – от стыда сгорал за таких соплеменников... Западная Украина!

Теперь мы села да хутора стороной обходили... Но силы таяли, на подножном корме до своих бы мы не дотянули. Где-то за Шепетовкой увидели какое-то селение, половина которого была пожжена. Подумали, что здесь-то, наверное, края партизанские – подлецов нема... Подождали до ночи и постучали в уцелевшую хату. Вышел хозяин – все сразу понял и проводил нас на сеновал. Накормил до отвала! Разговорились: оказалось, что один сын у него красный командир, а другой – Степан – в полицах. Не знал хозяин, чья сила на войне переборет, поэтому угождал всем. И беглых из концлагерей утаивал, но и бандеровцев тоже привечал. Мы ему, конечно, растолковали, что Красная Армия близко, война уж год как на поправку пошла – гоним немчуру... Он перекрестился даже, видно, что рад такому... А ночью будит нас:

«Бегите, парни! Сын с бандеровцами приехал – куражатся. Вас ищут – донес кто-то...»

А куда бежать? Кругом бандиты шарятся – орут, стреляют. А мы сидим в сене – дышать боимся. И тут слышим – мотоцикл заурчал. Немцы приехали – жандармерия или СС, собаки с собаками... Офицер пьяного Степана по щекам лупит и по-русски спрашивает: «Где партизан?» Тот и указал на сеновал...

Выволокли нас с Сереней, затравили овчарками. Меня до полусмерти измордовали, сволочи, а Серёню убили... Пытали около часа, а потом Степан и зарезал под хохот своих дружков! Даже немец, что расправой командовал, сплюнул и отвернулся, увидев, на какие изощренные мучительства способны бандеровцы...

– Лучше бы они меня прямо там прикончили, как Серёню, – тягостные воспоминания до слез взволновали Владимира Емельяновича.

Нет смысла описывать картину тех издевательств, которым подвергался русский военнопленный в немецкой неволе. Ни на какие снисхождения лагерных садистов юноша с клеймом на робе «Склонный к побегу русский» рассчитывать не мог. Неминучей смерти Дуняшев не стал дожидаться и снова бежал. На этот раз удачно...

– Я сразу в особый отдел пришел. Так меня там сначала чуть к стенке не поставили, – невесело усмехнулся дядя Володя. – Но затем разобрались. Видели, что не то что на диверсанта, даже на человека-то я не шибко был похож – кожа да кости, поэтому поверили моим объяснениям... Не могли не поверить! А потом, как говорится, учли мой бесславный опыт общения с бандеровцами. Война-то уже заканчивалась, поэтому самым главным врагом стали эти нелюди, которые терроризировали мирное население, убивали советских работников и военнослужащих. Не просто убивали – издевались, пытали, мучили. Все великие инквизиторы с их аутода-

фе и «испанскими сапогами» – шаловливые детишки, в сравнении с бандеровской мразью!

До 1950 года часть, где я служил, гоняла их по украинским лесам, вытравливала их из схронов. Сколько горя принесли они людям – никогда не измерить... Насмотрелся я на это в досталь: изнасилованные беременные женщины со вспоротыми животами, подвешенные за ноги старики, несмышленные младенцы, чьи маленькие головки расшиблены о бревна, сожженные хаты, откуда за версту пахло сгоревшими людьми, мины-ловушки на пути к роднику или на лесных тропинках и рядом – растерзанные тела подорвавшихся мирных жителей, герои войны, пришедшие с фронта – раскромсанные, с отрубленными конечностями, с кровью добытыми медалями и орденами, которые бандеровцы, глумясь, вбили им в рты...

Ненависть, только ненависть сжигала меня! Я негодовал, что Советская власть прощала этим гадам их зверства, судила их по закону, когда надо было вешать мерзавцев, как бешеных псов... А нас, солдат, еще и предостерегали от самосуда над ними, а те, кто не слушал, попадали под трибунал! Гуманны мы, русские, и это нас или спасет, или погубит...

Сам я, конечно, как ни хотелось, но ни единого пойманного паразита не убил. Только в бою, разве что... И, видимо, за это долготерпение наградил меня Господь! В одном из сел, куда мы приехали по вызову, я встретил... Степана! Да-да, того самого крестника-бандеровца – он сумел как-то обмануть всех, вывернулся и пригрелся на посту счетовода в местном колхозе.

Узнал он меня сразу, затрясся от страха. Вынул из ящика стола пистолет, пальнул по нам, не целясь и – дёру. Но разве от пули убежишь... Легко отделался, изувер, не так я представлял его погибель, корчась от мук в концлагере...



Владимир Емельянович
Дуняшев

После войны я долго приходил в себя. Пил напрапалую, заливая вином лавину горя, но оттаял. И знаешь, кто меня вылечил? Детишки очерские! Маленькие, худющие, голодные... Я им песни да пляски на аккордеоне играю, а они стараются, вытанцовывают на тоненьких ножках... Сразу вспомнил сытые хари бандеровцев, которые потому и сытые были, что еду отбирали у таких же детишек...

Пил я безбожно, Максим, но они и вылечили меня от пьянства, детишки очёрские... Дай Бог, чтоб никаких гадючих бандер и гитлеров не видеть им!..

Но вот внукам их и правнукам пришлось-таки повидать потомков этих гнусных отрывков истории, давно уже битых в хвост и гриву, но, увы не добитых – зеленских, турчиновых, арестовичей и другую нечисть...

В одном не соглашусь я с дядей Володей. Этими нелюдьми управляли и по сей день управляют те, кто душил людей в концлагерях, поставляя Гитлеру газы, кто бомбил Сербию, кто, фарисейски щерясь вампирскими улыбками, якобы стоит за «права человека», нас с вами за человека не считая, кто подпаивает отвратным зельем бесноватого шута Зеленского и иже с ним, кто бессовестно врёт даже самим себе, называя черное белым, омерзительную свору ЛБГТ – золотым миллиардом, прогнивший Запад – высшей цивилизацией. Это они – бесы, что хуже бандеровцев. Много-много хуже...



Так обращались с мирными жителями бандеровцы



А так – русские солдаты! И с тех пор ничего не изменилось.

Фото: prizyv.ru, С. Фридлянд.

АВТОР БЛАГОДАРИТ

Центральную библиотеку Очерского городского округа и лично А. С. Солодникову и Е. О. Шадскую

Очерский краеведческий музей им. А. В. Нецветова и лично Н. Е. Бесстрашникова

Музей Очерского машиностроительного завода и лично Л. Г. Шарову

Архив Очерского городского округа и лично И. И. Полякову

Творческое объединение «Очерская лира» и лично Т. А. Дрозд

Очерский народный театр и лично Т. Л. Поносову

Светлану Александровну Афанасьеву

Владимира Степановича Бикмаева

Федора Сергеевича Вострикова

Елену Николаевну Гильманову

Надежду Анатольевну Даминову

Алексея Александровича Дубровина

Сергея Владимировича Дуняшева

Маргариту Николаевну Карелину

Виктора Максимовича Мокрушина

Бориса Александровича Носкова

Ольгу Петровну Пискареву

Сергея Владимировича Седова

Ольгу Ивановну Сидорову

Игоря Николаевича Тюленева

При создании миниатюр автор использовал воспоминания Евгения Петровича Пепеляева, Николая Ивановича Рязанова, Клавдии Федоровны Пискаревой, Валентины Ивановны и Ивана Григорьевича Кулындышевых, Леонида Ивановича Шахтарёва, Николая Даниловича Колчанова, Павлина Александровича Вшивкова, Александра Сидоровича Кондакова, Валентины Степановны Балахоновой и других.



Максим Алексеевич Шардаков – историк, член Союза журналистов России, дипломант краевого творческого конкурса им. А. П. Гайдара. Родился в 1972 году в Очере. Персонажи его новой книги – незаурядные личности, благодаря которым Очер стал не просто точкой на карте, а историческим городом, местом притяжения: Афанасий Прядильщиков – краевед и инициатор создания старейшего на Урале певческого театра, Александр Попов – земский врач и организатор первой народной библиотеки-читальни, Алевтина Колчина – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Николай Носков – Герой Советского Союза, участник битвы за Днепр; а также: Яков Свердлов, который вел большевистскую агитацию среди рабочих Очерского завода, Филипп Голиков – Маршал Советского Союза, боец полка «Красных орлов», освобождавшего Прикамье от колчаковцев, и другие. Книга издана в рамках проекта «Очер live: живая история» при поддержке Министерства культуры Пермского края.